Олег Радзинский
Агафонкин
и
18+
Это книга выдающаяся
и увлекательная настолько, что
сравнить ее сегодня не с чем.
ДМИТРИЙ БЫКОВ
Время
роман
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
ОТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАДЗИНСКОГО

Олег Радзинский
Агафонкин и Время

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8611719
Олег Радзинский. Агафонкин и Время: АСТ: CORPUS; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-087027-1

Аннотация

Роман “Агафонкин и Время” – четвертая книга Олега Радзинского. Герой романа Алексей Агафонкин – Курьер. Но курьер необычный: он доставляет и забирает Объекты из разных временных эпох, перемещаясь между временами, как другие между городами. Агафонкин не особенно задумывается над сутью полученных от загадочного ***B*** заданий, пока не теряет один из Объектов – детскую юлу. В поиск юлы включаются как земные, так и неземные силы, и действие стремительно приобретает характер гонки – кто получит юлу первый? И почему она всем нужна? Выяснить это предстоит Агафонкину, а вместе с ним и читателю.

Содержание

От автора 5
Снова от автора 6
Часть первая 9
Глава первая 9
Глава первая 12
Глава первая 18
Глава первая 22
Глава первая 29
Глава первая 35
Глава первая 44
Глава первая 47
Часть вторая 53
Сцена где-то, 53
Сцена у памятника, 64
Сцена в читальне, 68
Сцена в постели, 72
Сцена у вокзала, 75
Конец ознакомительного фрагмента. 77

Олег Радзинский
Агафонкин и Время

Лене

Заблудился я в небе – что делать?
Осип Мандельштам

© О. Радзинский, 2014
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО “Издательство АСТ”, 2014
Издательство CORPUS ®

От автора

Совесть (а также статья 150 Гражданского кодекса РФ) требует от меня определенных пояснений относительно возможных совпадений персонажей данной книги с реальными прототипами.

Поясняю: все персонажи – реальные люди и названы настоящими именами, кроме двух – Владимира Владимировича Путина и Владислава Юрьевича Суркова. Эти двое – вымышленные характеры, и любое совпадение с настоящими людьми, носящими те же имена, – случайно и непреднамеренно.

Снова от автора

Тетрадь лежала отдельно от других экспонатов маленького музея – небольшая комната в деревянном бараке, где местные люди решили хранить память о бывшей здесь однажды больнице для прокаженных. Вокруг, обступив покинутые дома, стояла вилюйская тайга, светлая от песчаной почвы и облетевших по осени берез.

Тетрадь называлась “ATTACHE СИАМ”: странное, манящее имя. Почему никто не заметил ее прежде? И почему никто не заметил даты изготовления – 2014 год?

Все б ничего, да только год был 2009-й. Конец сентября.

Наталья Васильевна, управлявшая музеем в свободное от работы медсестрой время, сообщила, что тетрадь нашли в железной китайской шкатулке, нынче стоявшей на верхней полке среди других важных предметов, когда ломали старые бараки.

– Из больных, должно быть, кто-то записи вел, – пояснила она. – Мы посмотрели – поздние записи. Шкатулка ценная, а тетрадь – так…

Она полистала исписанную мелким косым почерком тетрадь и, заново не найдя в ней ничего интересного, отдала мне:

– Возьмите, если нужно.

Вечером в комнате, которую я снимал у старой русской женщины, однажды занесенной судьбой в якутскую глушь и оставшейся в этой светлой тайге, я открыл бордовую тетрадь, изготовленную через пять лет московской типографией КЕМ, и прочел начальную запись:

Слияние рек Чикоя и Хилок, день 6-й месяца Хурам-сар, 1184 год (наверное)

Так я нашел *Тетрадь Олоницына*, а вместе с ней и странную историю, в которую боялся поверить. Кроме самого Олоницына и оставленной им в старой китайской шкатулке с изогнутыми, словно испуганные ящерки, иероглифами бордовой тетради мне в работе над книгой помогли многие люди. Главных из них я хотел бы поблагодарить.

Мудрого и доброго Константина Воробьева – всеобщего ангела-хранителя, палочку-выручалочку, который, несмотря на загруженность важными государственными делами, помог организовать мое путешествие по Якутии.

Моих якутских друзей – Никиту Аржакова и поехавшую со мной в вилюйскую тайгу Яну Поскачину, переводившую рассказы стариков о былом времени. Другого моего друга, вилюйского патриота Якова Ильина, терпеливо отвечавшего на бесчисленные вопросы и помогшего отыскать информацию, считавшуюся безнадежно утерянной.

Всех живущих и работающих в бывшей Колонии Прокаженных Ahaабыт Заимката в поселке Сосновка Вилюйского улуса Республики Саха – больных и здоровых. Особенно хочу поблагодарить директора музея Вилюйского лепрозория Наталью Николаеву и моего проводника по вилюйской тайге Николая Николаева.

Моего другого проводника – Джэгэлкэта, без чьей помощи я бы не нашел пути через Хэнтэйские горы и урочище Делуун-Болдог к священной горе Бурхан-Халдун в Монголии, где родился и был похоронен Чингисхан (хотя Олоницын, как мы увидим, считал, что это не так).

И, наконец, мою жену Лену, разделившую со мной четыре года работы, терпеливо выслушивавшую мои мысли, страхи, сомнения; ей и посвящена эта книга. Без нее я бы не справился.

Книга началась с Тетради Олоницына. Он такой же, как и я, автор и, стало быть, имеет право на собственное предисловие.

ТЕТРАДЬ ОЛОНИЦЫНА

Слияние рек Чикоя и Хилок, день 6-й месяца Хурам-сар, 1184 год (наверное)

Осень, которой я повстречал Агафонкина, тянулась бесконечно долго, не решаясь остудиться, заснежиться и стать зимой. Минуло два месяца, как я приехал в Москву из якутского городка, где прожил до двадцати шести лет и откуда бежал поздним летом 2012 года, когда по утрам земля начала твердеть от ранних заморозков. Якуты, приезжавшие в город из маленьких, раскиданных по тайге алаасов запастись к долгой зиме, когда товар начнет приходить с перебоями (а бывало, не возили и по месяцу), принялись пьянствовать более обычного, и жизнь моя – и до того безрадостная – стала и вовсе невыносима. Кроме того, а, возможно, это и было главным, я знал, что никогда не найду Л.: она ушла навсегда. Потому в один день поздним летом я решился бежать в Москву.

Там я и повстречал Агафонкина и стал участником удивительных событий, что скорее всего мне привиделись, потому что признать их правдой решительно невозможно, как невозможно признать правдой якутские сказания про абаасов – небесных демонов, некогда кравших наших девушек (хотя кто знает?). До сих пор, глядя вокруг, я не могу поверить, что все это произошло.

Происходит.

Будет происходить?

Я решился начать эту тетрадь, пряча ее от посторонних глаз, когда поверил, что Агафонкин не вернется.

Я встретил его в Доме ветеранов сцены на Шоссе Энтузиастов, куда – по приезде в Москву – устроился санитаром и по совместительству уборщиком. Платили мало, но дали комнату для проживания, что – при московских ценах на жилье – было важнее денег. Зарплату я экономил почти всю, поскольку питался вместе с пенсионерками в небольшой столовой три раза в день. Их разговоры о былом времени текли мимо меня, как мелкая лесная река, которую перешел и забыл.

В Доме ветеранов сцены – ДВС – обитали старухи, свезенные из провинциальных городов. Столичных содержалось мало; видно, дети их были богаче и могли дать им умереть дома. А может, столичные актрисы имели совесть и умирали молодыми. Или, наоборот, жили молодыми вечно, как Мэрилин Монро.

Стариков не было ни одного. Актеры, должно быть, не доживают до старости.

Вымирают мужчины-актеры
Под грузом чужого текста
Чужих эмоций
Чужих
Поступков и слов
Мужчинам нужно свое
Женщины привыкли
Говорить чужие слова
Болеть чужой болью
Делать чужое счастье своим
Оттого живут дольше

Забыл сказать: я – поэт. Хотя в то время работал санитаром. Должность поэта трудно найти, особенно иногороднему. И особенно трудно найти должность поэта с предоставлением жилья.

Вторым санитаром в моей смене был москвич – Алексей Агафонкин.

Часть первая
Линия Событий

Глава первая
ЛенинградБасковпереулок-17мая1963года10:16

Сегодняшняя Доставка не нравилась Агафонкину. Ему было тревожно, словно он делал плохое, за что могут наказать, и скорее всего накажут. Как предчувствие мигрени, что проклевывается слабой пока головной болью, ждущей своего часа, чтобы превратиться в сверлящую мозг дыру у левого виска, куда – словно вода в раковине – закручивающейся воронкой утекут радость и простота существования. Так и агафонкинская тревога: предощущение, в котором прорастала горечь уверенности – быть беде. Непременно быть.

В двух кварталах к востоку начинался Литейный – с большими домами, старыми облупившимися особняками вымершей на чужбине русской аристократии и гулкими трамвайными линиями. Шума Литейного в тихом Басковом переулке слышно не было, и все же Агафонкин ощущал текущую оттуда оживленность большой улицы – непрерывный гул, мерный рокот, словно непрестанно работающий вдали мотор. Все это, конечно, существовало только в его воображении, оттого что до Литейного было идти и идти: сначала до Маяковского, затем до Короленко, свернуть на Некрасова, и уж оттуда можно было выйти на Литейный проспект. Агафонкин хорошо знал эти места, хотя раньше здесь не бывал. Он всегда внимательно изучал карту, перед тем как выбрать Тропу.

“Какое литературное место, – подумал Агафонкин. – Какие улицы – Маяковского, Короленко, Некрасова. В таком районе наш мальчик мог бы стать литератором. Но не стал, – вздохнул Агафонкин, – а вместо этого пошел работать на Литейный, дом 4”.

Сам район назывался Канал Грибоедова. Это Агафонкин тоже помнил.

Он решил не заходить во двор – находится еще. Он знал, что будет часто здесь бывать.

Во дворе же дома 12, куда решил не заходить Агафонкин, тем временем пузырилась местная жизнь. Маленькие, дошкольного возраста дети гоняли незлобных кудлатых собак, собаки пытались поймать облезлых кошек, старики в пахнущих долгой службой пиджаках и кепках сидели на крепких самостроенных лавочках, наполняя сырой воздух дешевым табачным дымом и неторопливой матерной речью, а тетки в наскоро повязанных платках и стареньких домашних халатах выносили ведра на помойку, распугивая рыскающих там крыс, и над всем этим в белесом чухонском небе висело бледное ленинградское солнце, что светило, да не грело.

Стоял холодный и сырой питерский май, переходный месяц от зимы к лету, когда неяркий в этих широтах солнечный свет начинает скапливаться, удерживаясь в небе, борясь с наступающей вечерней тьмой, и позже – в июне – белые ночи, разведенные мосты, Медный всадник, гуляющие по полутемному городу пары, поцелуи на лавочках, стихи и то особое петербургское состояние между светом и тьмой – неясность, зыбкость, ожидание, которым так гордится город. “По сути же, – думал Агафонкин, – никаких белых ночей нет; просто сумерки на время захватывают пространство ночи. Полуфабрикат тьмы. А романтики вокруг развели… Умелый питерский маркетинг: наши сумерки как никакие другие – длятся до утра. Только у нас – победа света над тьмой. На три недели в году”.

Двор дома 12 был двор особенный, известный окрестной шпане и криминалу постарше как проходной. Он удобно лежал на пути от Некрасовского рынка к подвалам-лабиринтам Саперного переулка. Агафонкин, впрочем, в подвалы не собирался: его ожидала Доставка,

ответственное дело. Он повернул от двора дома 12 и пошел на запад, к зданию школы 193. Идти было пятьдесят два метра.

Агафонкин подготовился к Доставке и мало отличался от советских прохожих 63-го года. Он был одет в темный болоньевый плащ и угольного цвета костюм из дакрона. Агафонкин не мог понять любви советского населения 60-х к искусственным материалам, но признавал их практичность: легко стирается и мало мнется.

Отправитель настоял на узком сером галстуке на резинке с ненавязчивым бордовым узором. “Такие тогда носила фрондирующая интеллигенция, Алексей Дмитриевич, – объяснил Отправитель. – Уж поверьте мне”. У Агафонкина не было выхода, и он поверил. Хотя и не понял, отчего должен походить на советскую фрондирующую интеллигенцию 60-х.

“Гагарин уже два года как слетал, – вспоминал Агафонкин, шагая к дому 8 по Баскову переулку, где находилась школа Адресата. – Что там еще, какие памятные вехи? Олимпиада в Токио? Нет, это через год. Надо будет потом еще почитать”.

Он свернул к школе. Большая перемена, как и сказал Отправитель, была в полном разгаре. В школьном дворе, словно песчаный вихрь, клубилась однородная масса мальчиков – хаотичное шумное броуновское движение скучных серых суконных форм. Девочки в шоколадных платьях и черных передниках собирались стайками – косички и хвостики, белые банты. Лица детей мелькали и казались Агафонкину одинаковыми.

“Ну, где же ты? – спрашивал себя Агафонкин, вглядываясь в снующих по школьному двору мальчиков. – Перемена скоро закончится, и где тебя искать?”

Агафонкин, понятно, лукавил: он мог найти Адресата в любой момент и в любом месте. Он просто не хотел застревать в Ленинграде 1963 года на целый день.

Агафонкин остановил пробегающего мимо мальчика, по размеру – ровесника Адресата.

– Постой-ка, – сказал Агафонкин. – Ты из какого класса?

– Из пятого, – сглотнул мальчик. Левое ухо у него топорщилось больше правого, словно кто-то его за это ухо тянул. Возможно, так оно и было. – Чего вам, дядя? Ищете кого?

– Из пятого, – повторил Агафонкин. – Это нам подходит. Тебя как зовут?

– Сережа, – снова сглотнул мальчик. – Серега Богданов. Агафонкин назвал имя Адресата.

– Знаешь такого?

– Вовчика? Да это друг мой лучший, – поделился Сережа Богданов. Он посмотрел на Агафонкина и забеспокоился: – А вы, дядя, откуда? Не из милиции?

– Нет, Сережа, я не из милиции, – ответил Агафонкин. – Я с его отцом работаю. Мне ему кое-что передать нужно.

Сережа обдумал ситуацию и сглотнул. Он Агафонкину не верил.

– Пошли бы к ним домой и тете Марусе передали, – предложил он.

– Да я уже заходил, – соврал Агафонкин. – Ее дома нет. Дело срочное, Сережа. Обещаю: я не из милиции.

Это, кстати, была правда.

Сережа сморщился от напряжения. Агафонкин казался ему странным, и он не верил, что тот работает на Вагоностроительном с Вовкиным отцом. Сережа знал мужиков, которые там работали; они и выглядели, и говорили иначе. На милицейского, однако, дядька тоже не походил. Хотя кто их знает.

Он собрался уже соврать, что Вовки во дворе нет, когда все решилось само собой: Агафонкин вдруг увидел Адресата – словно кто-то навел на него луч света, как делают в театре, высвечивая нужного в этот момент актера. Адресат стоял совсем рядом – маленький, хрупкий, беловолосый, с упрямым немигающим взглядом. Он смотрел на Агафонкина, словно стараясь его припомнить. Он был бледен и почти прозрачен, будто соткан из бледного про-

мозглого ленинградского воздуха – дитя туманов и болотных миазмов. На секунду – лишь на секунду – он показался Агафонкину миражом, галлюцинацией, одной из мансуровских интервенций. “А что, – мелькнуло у Агафонкина в голове, – что если все это – мансуровские придумки; создал галлюцинацию Доставки, а на самом деле я в Москве, в Квартире?” Мысль была тревожной, и Агафонкин поспешил ее отогнать. В остальном, не считая миражной прозрачности, Адресат выглядел точно как его фотография во внутреннем кармане пиджака Агафонкина.

– Так вот же он, – сказал Агафонкин, показывая на Адресата.

– Да какой же это он? – зачастил Сережа Богданов. – Это не он вовсе. Это вовсе другой. Это Левка Камелединов.

Но Агафонкин уже не слушал. Он пошел к Адресату, стараясь выглядеть неопасным, пытаясь улыбаться, хотя веселого в том, что должно было случиться, он видел мало.

Адресат стоял, не мигая, не двигаясь. Агафонкин чувствовал, что тот его не боится, но и не доверяет ему. Адресат выжидал, стараясь не казаться встревоженным. Бежать он, впрочем, не собирался.

– Не бойся, Володя, – сказал Агафонкин, – я не из милиции. Я тебе ничего дурного не сделаю.

В этом он, правда, не был уверен.

Адресат кивнул. Он ждал.

Агафонкин был обязан придерживаться процедуры: каждая Доставка начиналась с идентификации Адресата. Каждая Выемка начиналась с идентификации Отправителя. Он должен был убедиться, что перед ним именно тот, кто нужен, даже когда был в этом уверен. Адресат должен был себя назвать. Отправитель должен был себя назвать.

– Тебя как зовут? – спросил Агафонкин.

Адресат обдумал вопрос и хмыкнул.

– Вы меня ищете, а как зовут, не знаете?

– Я знаю, – терпеливо объяснил Агафонкин. – Просто по правилам ты должен себя назвать. Свое имя.

– По каким правилам?

– По правилам. – Агафонкин понизил голос до шепота. – Я тебе все объясню, когда ты себя назовешь.

Адресат пожал худыми серошкольными плечами.

– Володя.

– Полностью. Фамилия тоже нужна.

Адресат снова пожал плечами:

– Володя Путин.

“Контакт, – подумал Агафонкин. – Начинаю Доставку”.

Эта мысль также была частью процедуры. Агафонкин знал, что когда выполняет Назначение, должен думать правильные мысли.

– Очень хорошо, Володя, – улыбнулся Агафонкин. – Очень хорошо, что это ты. – Он нащупал конверт во внутреннем кармане плаща. – Тебе письмо.

Глава первая МоскваКвартира3-йНеопалимовскийпереулок-28ноября2013года12:17

Он хотел есть. Агафонкин ничего не ел с утра и не помнил, ел ли прошлым вечером. “Технически, – думал Агафонкин, открывая дверь подъезда со стороны внутреннего двора, заполненного разного вида и стоимости автотранспортом жильцов дома, – технически я ничего не ел более ста пятидесяти лет”.

Это была правда отчасти: последний раз он ел в Удольном, поместье графини Апраксиной в селе Малая Алешня Шацкого уезда Тамбовской губернии, и вокруг стоял веселый и рваный от неуверенного, непривычного ожидания лучшего и опасений, что все, как часто случается в России, повернется к худшему, полный надежд и тревог 1861 реформенный год. Только вчера *(что такое вчера?)* Агафонкин собрал мужиков села и объяснил им значение Уставной грамоты, отпускающей их из крепостного владения. Алешнинские крестьяне, выслушав, отказались подписывать: “Нет, ваше степенство, – сказали они Агафонкину. – Потрудитесь, Алексей Дмитриевич, составить с описанием дарованной землицы”. Агафонкин вздохнул, поспорил для порядка и сел писать новую Уставную грамоту, первый документ свободы для алешнинских крестьян.

Агафонкин хорошо знал местную землю – он давно служил управляющим в имении графини, которую здесь никто не видел (а не видел по той простой причине, что никакой графини и не было, поскольку Агафонкин придумал ее для собственных надобностей). Он увлекся новой Уставной грамотой и распределил огороды, гуменники и коноплянники меж крестьян, выделив для этих целей 29 десятин апраксинской земли. Затем Агафонкин подумал, выпил сладкого вина и положил еще 29 десятин на сенокосы – скотину-то нужно кормить. Он закончил писать и послал за Федором Титовым, грамотным мужиком из алешнинских крестьян, приложить руку от общества.

Еще засветло он позвал сенную девушку Варю – сказать, что ложится спать. Агафонкин решил взять Тропу назад утром, на свежую голову. Он не хотел лишать себя удовольствия сна в Удольном: мягкая перина, пенье птиц поутру и Варины ласки.

Утром он не стал завтракать, просмотрел Тропу еще раз и быстро, без приключений, вернулся в Москву 2013 года. Так что если быть педантом, последний раз Агафонкин и вправду ел сто пятьдесят лет назад.

Он, однако, не хотел быть педантом. Он хотел есть.

Одеяльце в детской коляске, стоящей на лестничной клетке в углу рядом с железной дверью Квартиры, было скомкано, словно бросили второпях. Агафонкин расправил его, перед тем как войти в просторную темную прихожую Квартиры, с плотным воздухом обжито́го пространства, пахнущую старой обувью и яичницей (а подчас и сладким можжевельником), и замер, оцепенев от увиденного.

Прямо на него плыла небольших размеров, но как-то недобро выглядящая акула. Агафонкин увернулся от раскрытой пасти с четырьмя рядами треугольных зубов, и акула, промахнувшись, выплыла на лестничную клетку, удивленно повиснув над колодцем стремящегося вниз пролета. Рядом с верхним острым плавником акулы, по одному с каждой стороны серо-металлического гладкого туловища, болтались два львиных хвоста с рыжими кисточками. Хвосты были украшены пышными, аккуратно повязанными оранжевыми бантами. Агафонкин закрыл за акулой дверь и оглянулся.

Он стоял на морском дне. Вода, светлая от песка, чуть колыхалась вокруг Агафонкина, переливаясь стаями мелких рыб. Рыбы проплывали сквозь Агафонкина и исчезали в окле-

енных выцветшими обоями стенах. Абстрактно-геометрический рисунок обоев на глазах преобразился в трехмерный лабиринт, прячущий в изгибах маленьких крабиков и длинных скользких мурен. Мурены шипели на Агафонкина, недовольные его появлением в их пространстве. Одна мурена метнулась к нему, и Агафонкин инстинктивно отшатнулся. Мурена засмеялась узким ртом-щелью и показала Агафонкину разделенный на три части язык-жало. Ее хриплый смех встревожил бесцельно снующих вокруг рыбок, и они заметались, окружив Агафонкина верчением, кружением и хаотическим беспокойством малых разноцветных форм. Агафонкину стало смешно и немного стыдно за свой страх.

“Ах, Мансур-Мансур, – подумал Агафонкин, – что же я не привыкну никак”.

Только он это подумал, как море пропало, и прихожая стала съеживаться, сдвигаться к центру, стараясь свернуться, словно Большой взрыв, в обратном направлении. Стены прихожей из геометрически-обойных стали каменными, с выступающими кусками необработанного гранита, и устремились на Агафонкина, угрожая раздавить. С камнем нельзя договориться: он слишком тверд для компромиссов.

Морское песчаное дно, на котором стоял Агафонкин, исчезло, и под ним разверзлась темная пустота вакуумного, почти космического свойства. Агафонкин повис в соткавшемся из быстро редевшего воздуха ничто. Каменные выступы, ощетинившись быстро прорастающими из них железными острыми кольями, сдвигались к центру, грозя Агафонкину неминуемой гибелью – быть сначала проткнутым, а затем раздавленным. Но Агафонкин не боялся; он вздохнул и поискал глазами домашние тапочки: ноги устали в офицерских сапогах кавалерийского фасона времен Первой Крымской войны.

Стены, надвигавшиеся на Агафонкина, остановились, расстроенные его нечувствительностью к предлагаемым миражам. Один из гранитных выступов разгладился и превратился в старопокрашенную дверь. Дверь открылась, и в проеме показалось скуластое, плохо побритое лицо Митька. Перед глазами Агафонкина словно продернули жидкую марлю, и прихожая снова стала прихожей. В ее полутьме лопались остатки галлюцинаций – пузырьки рыбок, узкоротых мурен и каких-то странных морских членистоногих, поросших мелкой травой. Интервенция сворачивалась, отступив перед Митьком и его неспособностью отделять магическое от реального.

Тапочки оказались на месте – под большим стулом с просиженным сиденьем, ждали Агафонкина, свидетели быстро наступающей нормальности окружающего. Агафонкин сел на стул и принялся стаскивать сапоги.

– Алеша, – Митек кивнул, но улыбаться не стал, – голодный?

– Голодный. – Агафонкин кивнул на крутящуюся в районе колен акулью морду, растерянно щелкавшую зубами, пытаясь компенсировать вялой агрессией растаявшее туловище: – Давно он?

– Мансур-то? – спросил Митек. – Да со вчерашнего дня запил. Не усмотрел я, Алеша; он из Квартиры вышел, мужиков у ларька нашел, показал им Париж или что еще, раззабавил, они ему и купили… Всю ночь, видать, пил у себя в комнате: я под утро проснулся, а вокруг – пустыня. Пески, барханы, чисто – будто подметено. Но пустыня не наша, а вроде космическая: голо так, просторно, и цвета все отдельно, без теней. Население местное – ящерицы типа варанов, но пушистые, как белки. И по-русски хорошо говорили.

Мансур запивал раз, бывало два в месяц, не чаще, и в запое наполнял Квартиру видениями. Наполнял он видениями, понятно, не Квартиру, а умы ее обитателей, хотя полной ясности по этому вопросу не существовало: Матвей Никанорович часто спорил с навещавшим Квартиру математиком и астрологом Платоном Тер-Меликяном, являются мансуровские интервенции галлюцинациями или Мансур изменяет ткань повседневной реальности. В пользу последнего говорил тот факт, что мансуровские миражи пропадали не полностью, сразу, в один миг, а оставались в Квартире подолгу, тая постепенно и нехотя. Часто после

мансуровских запоев по Квартире несколько дней слонялись какие-нибудь неприкаянные монстры – полуптицы-полуовцы, выпрашивая что-то у Митька на неслыханных никем языках, и стояли посреди большой комнаты никуда не ведущие обвалившиеся мосты со скачущими по ним клочками рыцарей, мешавших Матвею Никаноровичу своей возней смотреть телевизор. Митек пытался кормить монструозных созданий бородинским хлебом, но те печалились и расстроенно становились ничем.

Однажды Мансур выпил с местными алкашами что-то жидко-техническое, и Квартира на несколько дней превратилась в поле боя громадных роботов, оснащенных фантастическим оружием будущего. Бой шел несколько дней, нарушая привычную тишину и тревожа размышления Матвея Никаноровича о сути априорных форм восприятия в трудах Иммануила Канта. Мансур отказывался остановить интервенцию, уверяя, что он “только начал, а дальше они сами”, и война роботов продолжалась в Квартире почти неделю, постепенно сходя на нет без видимых для участников результатов, как часто случается с войнами и за пределами галлюцинаций.

Когда роботы, наконец, потаяли, испарившись в напоенный насилием и ионным облучением воздух Квартиры, Агафонкин спросил у Мансура, кто победил. “Победила дружба”, – уверенно и скоро ответил Мансур и попросил у Агафонкина денег на похмелье. Агафонкин отказал, не обращая внимания на угрозы превратить Агафонкина в мокрицу и навеки поселить под раковиной в кухне. “Подумай хорошо, Алеша, – не унимался Мансур, – ведь целый век будешь жить мокрицей – ни баб тебе, ни выпивки – что за радость? А так дал пятьсот рублей, и мне хорошо, и тебе покойно”. Агафонкин согласился с логикой мансуровских рассуждений, но денег не дал: трезвый тот был не опасен.

“И зачем мы его держим в Квартире? – в очередной раз подумал Агафонкин, проходя на кухню. – Пользы от него никакой, одни беспокойства”.

Он заглянул в гостиную, где стояли большой старый диван не вполне определенного цвета, овальный полированный стол с тремя задвинутыми под него стульями и четвертым у стены и детский манеж. Манеж был пуст, за исключением лежавшей в нем книги Ницше “Über das Pathos der Wahrheit”. “О пафосе истины”, – мысленно перевел Агафонкин. – Зачем он читает? Ему и так все известно”.

Агафонкин посмотрел на задумчивого годовалого младенца в золотистого цвета ползунках, сидящего на диване с бутылочкой детского питания, и поздоровался:

– Здравствуйте, Матвей Никанорович. Приятного аппетита.

Младенец взглянул на Агафонкина без любопытства, сделал большой глоток и икнул. Агафонкин подождал: поворачиваться и уходить во время беседы со старшими было невежливо. “Так беседы-то и нет”, – подумал Агафонкин и уже было собрался уйти, когда младенец, перестав икать, посмотрел на него светло-желтыми глазами.

– Интересно, – несколько недовольно, словно ничего интересного на самом деле не было, произнес Матвей Никанорович. – В Швейцарии на Большом адронном коллайдере сегодня произошел прорыв в изучении кварк-глюонной плазмы.

– Да что вы, Матвей Никанорович! – неискренне удивился Агафонкин. – Вот ведь как, надо же…

– Большое дело, Алеша, – вздохнул Матвей Никанорович. – У них утром при неупругом столкновении двух ядер на ультрарелятивистских скоростях на короткое время образовался – хотя затем, правда, сразу распался – плотный комок ядерного вещества. Итальянский физик Анжелли правильно интерпретировал подобную динамику как переход материи в состояние кварк-глюонной плазмы. Умница, – добавил Матвей Никанорович после недолгого молчания. – Теперь статью напишет.

– Молодец Анжелли, – согласился Агафонкин. – Сегодня, значит, прорыв произошел?

– Да буквально минут двадцать назад, – охотно объяснил Матвей Никанорович. – Его группа еще наверх не поднялась, они там… – Он чуть поморщился и понюхал воздух: – Они там сейчас дебатируют, являются ли нагревание и остывание плазмы факторами электромагнитного взаимодействия частиц.

– И как? – без особого интереса спросил Агафонкин. – Какие выводы?

– Не знаю, – ответил Матвей Никанорович и глотнул молочной смеси. – Не решили пока. Ты же понимаешь: я, до того как правильное осознание явлений не произошло, не могу знать.

– Дела… – Агафонкин был голоден, и адронный коллайдер его сейчас (и вообще) мало беспокоил. – Я пойду поем, Матвей Никанорович?

Матвей Никанорович вместо ответа икнул и погрузился в сосредоточенное молчание.

“Вот, ведомо ему все человеческое знание, – лениво размышлял Агафонкин, нагревая старую чугунную сковородку, чтобы пожарить яичницу. – Польза от человека. Или я, от меня тоже понятно какая польза (это, кстати, Агафонкину не было до конца ясно). А какая польза от Мансура с его галлюцинациями?”

Мансур появился, когда Агафонкину было шестнадцать, и оттого Агафонкин полагал себя вправе подвергать факт его принадлежности Квартире сомнению. Мансура привел Митек. Тот поначалу был трезв и тих и делал вид, что плохо понимает по-русски. Первые дни он много моргал и говорил с комическим татарским акцентом, как дворники в старой Москве. Впоследствии выяснилось, что Мансур – кандидат исторических наук, родился и вырос в Сокольниках и татарского в нем – только имя да исходившая от Мансура кочевая грусть.

Агафонкин чувствовал эту грусть, как запах, как чувствуют люди аромат духов; грусть пахла полынным ветром и конским потом и еще чем-то пронзительно резким, чему не было имени в словаре Агафонкина. Да и откуда: Агафонкин был не татарин, да и вообще сомнительно, что человек. Еще в юном возрасте, прочитав роман “Альтист Данилов”, Агафонкин так и спросил Митька:

– А мы что, демоны?

– Что ты, Алеша, – расстроился Митек. – Демоны-то, поди, с рогами. А ни у тебя, ни у Матвея рог нет.

Агафонкин успокоился, но долго потом, причесываясь по утрам перед треснувшим зеркалом в ванной с побитой белой кафельной плиткой, ощупывал голову под кольцами каштановых кудрей – не растут ли рога. Рога не росли.

У Матвея Никаноровича рога также не росли, там и ощупывать не нужно: был тот подетски лыс, с мягким пушком, как и положено годовалому младенцу. Агафонкин считал его отцом, а Митька вроде как матерью, оттого что Матвей Никанорович вел с Агафонкиным все его детство умные разговоры (и продолжал до сих пор, считая, видно, что детство Агафонкина не окончилось), а Митек Агафонкина кормил, поил, одевал и лечил от простуд. Лечение Митек признавал только одно: насыпать в носки сухой горчицы, напоить до тошноты горячим чаем с медом, предварительно выжав в чашку целый лимон, и надеть на голое тело свитер из грубой, колющей шерсти. Он и теперь, если Агафонкин вдруг чихнет, пытался нацепить на него этот свитер; свитер вырос вместе с Агафонкиным, увеличиваясь, растягиваясь, удлиняясь в рукавах.

Так случалось и с остальной агафонкинской одеждой, росшей вместе с ним, меняясь в размере и фасоне. В детстве Агафонкину это казалось нормальным, как казалось нормальным многое происходящее в Квартире, что выросший Агафонкин начал находить удивительным и подчас невозможным.

Решив понять меру нормальности обитания в Квартире в сравнении с остальным миром, Агафонкин сунулся с этим вопросом к Матвею Никаноровичу. Тот, пожевав соску

от бутылочки с детским питанием, спросил, подразумевает ли Агафонкин под “нормальным” нормальность познания, то есть нормальность эпистемологическую, или нормальность существования, то бишь нормальность онтологическую. Агафонкин не знал и пошел на кухню к Митьку.

– Я насчет одежды, – подступился к нему Агафонкин; Митек промывал гречку в кастрюльке, заливая ее холодной водой и снимая старой деревянной шумовкой всплывавшую шелуху. – Это что, нормально, что одежда со мною вместе растет?

– А как еще, Алеша? – удивился Митек. – Ты-то вон какой вырос, одежа, поди, видит, что иначе на тебя не налезет. Вот и старается угнаться.

– Другие в магазинах покупают, – упорствовал Агафонкин.

– Так у других, видать, денег много, – вздохнул Митек и, слив очередную порцию воды, осмотрел гречку под светом из окна, за которым томилась грязная московская осень. Оставшись довольным достигнутой чистотой крупы, Митек поставил кастрюльку на плиту – варить кашу на завтрак – и сказал Агафонкину: – Вот они гро́ши в магазинах и тратят.

Более Агафонкин ничего от него не добился.

Агафонкин рос и, выходя с Митьком на улицу прогуливать Матвея Никаноровича в коляске, начал обращать внимание на чужих. Чужие жили по-другому: их дети в отличие от Матвея Никаноровича росли и, пока были грудного возраста, не рассуждали о декартовском принципе отказа от суждений о бытии предмета вне воспринимающего его сознания и критике этого принципа другими позитивистами. Споры о подобном и многом другом велись Матвеем Никаноровичем с Платоном Тер-Меликяном, сопровождавшим их прогулки в отдаленные уголки запущенного районного парка. Когда приближались чужие, Матвей Никанорович оскорбленно замолкал, оттого что при чужих говорить не мог и должен был агукать. “А как еще, – пояснял Митек. – Матвей-то по наружности – дите малое. А то проведают и заберут в институт, изучать станут”. Платон мягким баритоном просил Матвея Никаноровича поагукать хотя бы во дворе. Матвей Никанорович не соглашался и, пока коляску везли через двор, обиженно притворялся спящим.

– Тихий у них ребеночек, – одобряли старухи, никогда, казалось, не покидавшие лавочных постов у подъезда. Они провожали коляску сочувственными взглядами натруженных от созерцания дворовой жизни глаз и понимающе вздыхали: – Больной.

Таково было общее мнение соседей о Матвее Никаноровиче: больной – не растет. Митьку во дворе сочувствовали – мается мужик с двумя детьми; один – ущербный младенец-калека, другой – дурачок, что и в школу ходить не может.

Не отдавать Агафонкина в школу решили семейным советом – Матвей Никанорович и Митек с приглашенным в качестве наблюдателя с совещательным голосом Платоном Тер-Меликяном. Собственно, решил это, как и все важные вопросы Квартирного обитания, Матвей Никанорович и объявил Митьку. Тот слушал, кивал и, как водится, думал о практичном:

– Справку нужно будет оформлять, что обучаться не в состоянии, – рассуждал вслух Митек. – Комиссии проходить на отсталость. – Он задумался. – Организуем, конечно, но хлопот много.

– Ничего страшного, – тоном, не позволяющим возражений, заявил Матвей Никанорович (Митек только сменил ему подгузник, и тот чувствовал себя особенно уверенным в своей правоте). – Отдадим в школу – хлопот будет еще больше. Чем меньше у Алеши контакта вне Квартиры, тем спокойнее. Вы как думаете, Платон?

Платон никогда не отвечал сразу. Он задумывался, оборачивался по сторонам, словно кого-то искал, тер пальцами широкие гладкие крылья носа и, откашлявшись, наконец отвечал на обращенные к нему слова.

– Думаю, Матвей Никанорович, вы правы, – сказал тогда Платон. Он внимательно осмотрел сидевшего на диване семилетнего Агафонкина и, коротко помолчав, добавил:

– Хотя, знаете ли, в качестве эксперимента было бы любопытно. Проследить, знаете ли, эффект воздействия процесса общественной социализации на существо, живущее вне законов макрофизического мира.

Существом этим, ясное дело, был Агафонкин.

Глава первая МоскваШоссеЭнтузиастов88-22февраля2014года3:11

ТЕТРАДЬ ОЛОНИЦЫНА

Агафонкин видел время.

Как люди видят время? Агафонкин открылся мне февральской ночью в сдавленной тишине санитарной дежурки Дома ветеранов сцены, и я, пораженный услышанным, принялся мучить его, пытаясь понять механизм. Агафонкин, привыкший к подобным расспросам (его ими пытали все детство Матвей Никанорович и Платон), объяснил так:

– Когда вы, Иннокентий, смотрите в кинотеатре фильм, в каждый данный момент видите лишь один кадр – тот, что находится в окошке кинопроектора. Это и есть настоящее. Кадры меняются: будущее становится настоящим, настоящее становится прошлым и исчезает навсегда. Поэтому зрители видят только настоящее. Только то, что попало в окошко кинопроектора.

Агафонкин же видел все сразу. Он видел время как растянутую перед ним нескончаемую киноленту, и каждый кадр этой ленты продолжал совершаться, никуда не уходя, никогда не прекращаясь: вот Пушкин стреляется на Черной Речке, а вот он читает стихи Державину на лицейском выпуске. Вот Ельцин просит у народа прощение в 99-м, а вот он карабкается на танк в 91-м. Кино, что показывали Агафонкину, никогда не заканчивалось, и время не исчезало в темноту, пройдя сквозь отсекающую прошлое и будущее амбразуру настоящего. Агафонкин видел все кадры сразу и одновременно.

Мир не меняется, Иннокентий, объяснял Агафонкин, мир не идет от одной точки к другой. Все стоит на месте и происходит одновременно. И будет происходить всегда.

Когда-то, будучи ребенком, Агафонкин рассказал это Матвею Никаноровичу и Платону. Те, выслушав, принялись спорить, пока Митек кормил Агафонкина яичницей-глазуньей с покрошенным сверху сыром на большой светлой кухне с зелеными стенами.

– Допустим, уважаемый Платон, – горячился Матвей Никанорович, ползая из одного угла манежа в другой, – допустим, Алешино видение времени аккуратно отражает его истинную суть. Мы ведь считаем, что время движется, поскольку измеряем время способностью передавать информацию из прошлого в будущее, не так ли? То есть мы знаем, что случилось вчера, но не знаем – достоверно по крайней мере – что произойдет завтра? Допустим – ну, скажем, в порядке парадокса, что время не идет, а стоит, как утверждает Алеша. Что это означает? А то и означает, что Алеша видит время, как оно описано с позиций релятивистской физики.

– Помилуйте, Матвей Никанорович, – удивился Платон, – да ведь на этом принципе построена Частная теория относительности. Что же вас удивляет, что же здесь нового?

– А то новое, – торжествовал, уцепившись маленькой ладошкой за край манежа Матвей Никанорович – погремушка победно над круглой, покрытой пушком, головой, – а то и новое, что Частная теория относительности работает только для элементарных частиц! А мы имеем дело, – взмах звякнувшей погремушкой в сторону притаившегося за дверью Агафонкина, – а мы с вами, дорогой мой Платон, имеем делос макрофизическим телом. Алеша, – позвал Матвей Никанорович, – пойди сюда, милый.

– Взгляните на отрока, дорогой Платон, – потребовал Матвей Никанорович. – Напоминает ли он вам элементарную частицу? Выглядит ли он как, скажем, нейтрон? Или, возможно, вы находите в Алеше сходство с протоном?

Платон придирчиво осмотрел Агафонкина и, вздохнув, признал, что на элементарную частицу тот похож мало. Об Агафонкине оба спорящих скоро забыли и перешли к упоительному по абстрактности обсуждению возможности функционирования макрофизических тел (таких, как Агафонкин) по законам микрочастиц.

Спор их, однако, не менял сути: каким-то загадочным, необъяснимым образом Агафонкин видел кадры растянутой перед ним ленты времени одновременно. Мало того: в каждый из этих кадров он мог попасть.

Эта способность Агафонкина перемещаться в пространстве-времени интриговала Матвея Никаноровича и Платона Тер-Меликяна более всего. С раннего детства они пытали Агафонкина расспросами о механизме перемещения.

Механизм же был примитивный до смешного: Агафонкин мог прыгнуть в любой момент-кадр жизни любого человека. Все, что ему для этого было нужно, лишь дотронуться до человека.

Когда – года три назад – Агафонкин посмотрел американский фильм " Телепорт", он удивился сходности своей ситуации с героем фильма, прыгавшим из одной точки пространства в другую. Только Агафонкин прыгал из одного времени в другое. И ему был необходим Носитель – человек. Американец же обходился картинками – посмотрел на фотографию места, и уже там. Еще один пример превосходства западных технологий над отечественными.

– Видите ли, Иннокентий, – объяснял Агафонкин, грея ладони о почти остывшую кружку с чаем в санитарной дежурке Дома ветеранов сцены, – когда нужно куда-то попасть, для меня как бы вырисовывается путь, вмятины в пространстве-времени от различных людей-тел. Эти люди – Носители, а путь мы называем Тропа.

Кто эти "мы", Агафонкин рассказал потом, поначалу же он держал Квартиру и ее обитателей в секрете. В то время он еще надеялся, что обойдется и Агафонкин сможет жить свои разные жизни, не открываясь, не признаваясь и не каясь.

– Пространство-время, Иннокентий, похоже на чуть провисающий брезент, – делился со мною Агафонкин. – Или на плохо натянутую простыню из резины. Представьте, что вы бросили бильярдный шар на такую резиновую простыню, и он покатился, оставляя за собой вмятину оттого, что простыня натянута не туго. Теперь представьте, что таких шаров тысячи, миллионы, миллиарды. Бороздки, промятые ими, пересекаются, и я могу им следовать, меняя направление, перескакивая из одной в другую.

Агафонкин улыбнулся, понюхал чай. Пить, однако, не стал.

– Эти шары – люди, оставляющие след в пространстве-времени, Иннокентий.

– А почему мы оставляем следы?

– Как почему? – удивился Агафонкин. – Вы что, в школе не учились? Гравитация.

Он понял по моему лицу, что слово "гравитация" никак не помогло (ведь я – поэт), и, вздохнув, пояснил:

– Каждый предмет, имеющий массу – а массу имеет каждый предмет, – обладает силой притяжения и, стало быть, оставляет следы на плохо натянутой простыне пространства. Восьмой класс, по-моему. – Агафонкин рассмеялся: – Хотя не знаю, в школу я не ходил.

Он не ходил в школу, и все, что знал, включая объяснение его видению времени и способности в нем передвигаться, выучил из споров Матвея Никаноровича и Платона. А спорили те бесконечно.

– Помилуйте, мудрейший Платон, – кипятился Матвей Никанорович, ерзая в красной коляске во время очередной прогулки по занесенному бурой листвой парку – словно листья были изготовлены из металла и, опав, проржавели. – Предположим, что Алеша видит гравитационные следы от жизней людей во времени, хотя само это предположение надобно

признать фантастичным. Что же, по-вашему, позволяет ему путешествовать по этим следам?

Платон, проделав свою обычную процедуру с потиранием крыльев носа и со слабой надеждой взглянув на дальние чахнувшие деревья в поисках ответа, вздохнул, снял берет, затем надел его снова поверх коротко остриженных жестких черных волос и сказал:

– Решусь, многоуважаемый Матвей Никанорович, высказать соображение: наш мальчик путешествует в пространстве-времени по Минковскому.

– Пространство Минковского, Иннокентий, – рассказывал мне Агафонкин, – описывает Вселенную, где пространство и время являются категориями одного общего – пространства-времени. Любую точку в этом пространстве, называемую Минковским "Событие", можно определить при помощи четырех пространственно-временных координат: высота, ширина, длина и время. То есть, – Агафонкин взглянул на часы, – наш разговор, происходящий здесь и сейчас, можно обозначить как Событие 55°45'северной широты37°36'восточной долготы-22февраля2012года3:47. Но это описывает все события, происходящие в Москве в эту минуту, поэтому нужно более детальное местоположение именно данной комнаты с точностью до метра. И не забывайте, что в этот же момент, в этом же пространстве происходят другие события – летают мухи, кипит чайник и прочее. От того нужны и другие подробности, например – РАЗГОВОР С ИННОКЕНТИЕМ. Так большей или меньшей определенностью географически-временных деталей можно обозначить все события в пространстве-времени. Если соединить эти точки-события, то получится "мировая линия", связывающая все когда-либо произошедшее, происходящее или будущее происходить. Это Минковский называл Линией Событий.

Теперь представьте путешественника, двигающегося вдоль этой линии равномерно и прямолинейно от одной точки к другой. Такого гипотетического путешественника Минковский называл "Инерциальный Наблюдатель", поскольку он движется по инерции, приданной ему начальным импульсом, и не способен менять траекторию. Его время идентично времени вдоль Линии Событий. Это, Иннокентий, то время, к которому мы привыкли, то бишь, линейное время от прошлого к будущему.

В этом месте Агафонкин остановился и, посмотрев на меня внимательно, добавил:

– Вы, конечно, понимаете, что на самом деле нет никакого прошлого и никакого будущего. И то и другое – лишь точки-события, которые можно описать четырехмерной системой координат. Ну, как на карте. Вы же не скажете, что Эверест, например, находится в будущем по отношению к Монблану, оттого что у него другие долгота и широта?

Я согласился, что утверждать подобное было бы странно. Хотя окончательно поручиться не взялся б.

Успокоившись, что я разделяю его точку зрения на отсутствие прошлого и будущего, Агафонкин продолжил:

– Теперь представьте другого путешественника; он движется вдоль мировой Линии Событий, сохраняя собственное время, независящее и несовпадающее со временем Линии Событий. Это Неинерциальный Наблюдатель. Вот я, – вздохнул Агафонкин, – я и есть такой Неинерциальный Наблюдатель.

После того как Агафонкин покинул время, кажущееся нам настоящим, я написал стихи про наш ночной разговор. Вот они:

Грустный наблюдатель
Скользящий
Вдоль Линии Событий
Что ищешь
Что хочешь узнать

Понять
У тебя – своя система отсчета
А у мира – своя
Оттого не поймешь ни хуя

Единственная жизнь, которую Агафонкин не мог видеть, была его собственная. В его жизни не было времени – лишь странная, вакуумная пустота. Когда Агафонкин пытался смотреть на свою жизнь, она выглядела словно пространство внутри туго надутого резинового шарика. Его жизнь выглядела как сдавленный воздух.

Жизни обитателей Квартиры – Матвея, Мансура и Митька – Агафонкин видел, но путешествовать по ним не мог.

Время Матвея Никаноровича пестрило, словно рябь на экране телевизора, когда теряется сигнал, и различить отдельные моменты не представлялось возможным. Агафонкин пытался много раз прыгнуть в какой-нибудь из кадров этой жизни, подолгу держа Матвея Никаноровича на руках, но не мог: было некуда прыгать.

Время Мансура виделось Агафонкину чередой моментально сменяющихся картинок – непрерывно вращающийся калейдоскоп. Жизнь Мансура пряталась в этих наслаивающихся друг на друга образах. Время Мансура казалось одной из его галлюцинаций – без смысла и цели, алкогольный дурман.

Удивительнее же всего выглядело время Митька: темная вода, непрерывный поток. Как войти в определенную точку потока? Войди, и тебя унесет, увлечет, растворит. Сам станешь темной водой. Такая вода течет зимой подо льдом.

Жизнь Митька пахла железом.

Глава первая КиевПаркПушкинаБрест-Литовскоешоссе-7июля1934года15:20

Выемка была назначена у Центрального фонтана. Люди – выходные по воскресному времени – заполнили Парк Пушкина гомоном ароматной от украинской певучести речи. Перед сценой у Центрального павильона играл духовой оркестр – что-то маршевое, радостно-героическое, в духе год назад завершенной первой пятилетки, и, казалось, мужчины в белых парусиновых брюках и полотняных толстовках не просто гуляют по парку, а маршируют под медную музыку к новым горизонтам 30-х. Агафонкину захотелось влиться в общий энтузиазм и стать частью целого, деталью большой государственной машины, имеющей цель и назначение масштабнее и ценнее любого отдельного, личного. Всякий раз, попадая в 30-е, он ощущал совместный ход советской жизни, скорый, объединяющий ритм раннего индустриального времени, как люди, меряя пульс, чувствуют ток своей крови.

Агафонкин радовался красоте гуляющих по парку женщин, одетых на один фасон – прямые цветные ситцевые блузки без рукавов, перехваченные поясками на талии, и чуть расклешенные юбки до колен. Блузки различались вырезами – треугольные, целомудренно сходящиеся клином чуть выше ложбинки, разделяющей валики грудей; круглые, открывающие нежные загорелые шеи и плечи с хрупкими ключицами; квадратные, одинаковой глубины на груди и спине. Узор окантовки из цветной тесьмы на вырезах повторялся в окантовке, бегущей по подолу юбки, и в расцветке матерчатого пояска. Некоторые модницы обернули той же тесьмой широкополые шляпы и темноглазо кокетничали из-под мягко опадающих полей, готовые мгновенно спрятаться под их защиту. Кокетство по большей части предназначалось ответственным работникам в полотняных толстовках и кепках, могущим в одночасье изменить жизнь женщин к более сытному, а стало быть, и более счастливому существованию.

Агафонкин сочувствовал женщинам и расстраивался, что здесь временно и не может им помочь. Он подумал, не остаться ли ему в 34-м и пожить здесь года три, до чисток 37-го, но вспомнил, что через полгода в Смольном застрелят Кирова и начнется ленинградский террор. Агафонкин уже пережил сталинские времена пару раз – из любопытства и возвращаться туда не хотел. Он не то чтоб боялся – с ним не могло ничего случиться, нет, не боялся Агафонкин, а просто не хотел смотреть на происходящее, не имея права изменить хоть самую малость – спрятать, защитить, приютить. Это ему было строго запрещено.

Он прошел мимо старого паркового рабочего в украинской вышитой рубахе навыпуск и цветной узбекской тюбетейке, подрезающего пышные кусты роз, по направлению к фонтану и стал присматриваться к толпе, пытаясь отыскать Отправителя. Перед тем как направиться в сегодня (то есть в сегодня, где в данный момент находился Агафонкин), он изучил фотографию ответственного советского работника Полустасова, значившегося в Направлении на Выемку в качестве Отправителя. Полустасов выглядел наголо стриженным, впалощеким и сильно испуганным. Но эта фотография, объяснил Митек, передавая Агафонкину Назначение от ***В***, взята из энкавэдэшного дела, по которому Полустасова расстреляют в 36-м. Сейчас же он мог выглядеть довольно-вальяжным, округлолицым, с копной пшеничных или темных волос, и Агафонкин выискивал Отправителя среди прогуливающихся и недвижно стоящих у фонтана бело-парусиновых мужчин. Длинная минутная стрелка на Центральном павильоне коснулась цифры 6, торчащей задиристым хвостиком вверх, стало быть, время Выемки – 15:30 – наступило. Теперь у Агафонкина оставалось ровно семь минут завершить Назначение. То есть Агафонкин мог оставаться в нынешнем времени сколько угодно, но на Контакт отводилось семь минут.

Так шла его жизнь: он доставлял вещи в разные места-времена и забирал вещи из разных мест-времен. Вещи случались самые обыкновенные, самые разные, самые нелогичные: когда письмо, когда старая одежда, а когда и поломанная игрушка. Агафонкин никогда не знал, что ***В*** потребует на этот раз.

Назначения на Доставки-Выемки выдавал Митек. Митек общался с ***В*** напрямую. В юности, когда Агафонкин стал Курьером, он приставал к Митьку с расспросами о ***В***: какой тот, как выглядит, сколько лет. Добиться внятных ответов не получалось. Митек мотал коротко остриженной, похожей на плохо выросшую грушу головой, и отнекивался:

– Обыкновенный он, Алеша. Как ты и я. Да нет, не звонит он мне и мысленно ничего не приказывает, да и не нужно: я сам знаю, когда у него ко мне дело есть.

Матвей Никанорович придерживался о ***В*** более лестного мнения: он считал, что тот, безусловно, никакой не человек, а явленная Митьку субстанция управления миром. Сам он ***В*** никогда не видел, но любил поспекулировать о его сущности в беседах с Платоном.

– Не кажется ли вам, дорогой Платон, – осведомлялся Матвей Никанорович между глотками любимой молочной смеси, – что наш ***В*** и есть аристотелевский Нус, вселенский Разум, управляющий историей?

Платон оглядывался вокруг, ища совета у невидимых участников беседы, и, не найдя, вздыхал, потирал крылья носа и говорил что-нибудь соответствующее:

– Возможно, в метафизическом смысле, уважаемый Матвей Никанорович, ***В*** и управляет историей. Хотя, – чуть морщился Платон, явно подвергая метафизический смысл сомнению, – если верить Гегелю, мы обязаны заменить метафизику объективной логикой, коли стремимся постигнуть чистыми формами мысли особенные субстраты – душу, мир и Бога.

Матвей Никанорович верить Гегелю отказывался и, взволнованно икая молочной смесью, кидался в бой. Нищета гегелевских рассуждений пояснялась Платону долго и доходчиво, и беседа плавно поворачивалась от ***В*** к идее воли у Ницше, феноменологии Гуссерля и проблемам речевого описания бытия в работах Хайдеггера и Витгенштейна. Агафонкин узнавал из этих бесед много нового, кроме одного: кто же такой ***В***.

В одном Матвей Никанорович соглашался с Митьком: ***В*** – Хозяин.

– У него, безусловно, имеются в отношении нас определенные планы, – объяснял он Агафонкину. – Иначе для чего собирать нас в Квартире и содержать годами, десятилетиями, как тебя и меня, а в случае Митька – много дольше?

Матвею Никаноровичу, по его словам, было далеко за шестьдесят, хотя точно он не знал, поскольку никаких документов на него не было, и следовало это из слов Митька, туманно сообщавшего, что он “принял” Матвея Никаноровича сразу после последней большой войны.

Как принял, от кого принял – ничего путного Митек по своему обыкновению объяснить не мог, удивляясь любопытству Агафонкина.

– Ну что такого удивительного, Алеша, – меняя прокладку под кухонной раковиной, говорил Митек Агафонкину, державшему наготове гаечный ключ. – Я с войны вернулся, а тут мне, значит, указание вышло – Матвея забрать. Я и выполняю.

– От кого указание-то, Митек? – добивался Агафонкин. – По почте, что ли, пришло?

– Понятно от кого, – мычал Митек из-под раковины, – указали, и все тут. Что я, спорить буду? В порошок сотрут.

В этом месте беседы Митек обычно просил гаечный ключ – *подтянуть шайбочку* – после чего разговор начинал казаться Агафонкину абсурдным и прекращался сам собой. Неузнанное оставалось неузнанным, манящим, тревожным, как обещание дождя или неслучайный девичий взгляд из-под ресниц. Агафонкин на какое-то время переставал мучить Митька расспросами, и жизнь Квартиры текла по-прежнему – с посещениями Платона, про-

гуливанием Матвея Никаноровича в коляске и Назначениями на Доставки и Выемки, поступающими от ***В***.

По поводу своего возраста Митек тоже не мог сообщить ничего определенного, кроме того разве, что хорошо помнил московский пожар 1812 года.

– Загорелось, значит, у Земляного города, – рассказывал Митек маленькому Агафонкину, крупно нарезая картошку ровными дольками для жарки. – Наполеон-то только за день до того в Москву въехал через Дорогомиловскую слободу, так мы побежали смотреть…

Он не мог объяснить, отчего не умирает и даже вроде бы не стареет.

– Не моего ума дело, – делился Митек, уминая чугунным утюгом засоленную на зиму в большом белом эмалированном ведре крепкую, упругую, мелко нашинкованную капусту. – Значит, решение такое насчет меня было. Когда не нужен стану – помру. У каждого свое задание, Алеша: у меня – о Квартире заботиться, у Матвея – все знать, а у тебя – туда-сюда вещи возить. Каждый, видишь, живет согласно Назначению.

Сегодняшнее Назначение Агафонкина было Выемка. Он оглядывался вокруг, стараясь узнать Отправителя. Маршевая музыка тем временем прекратилась, и после недолгой паузы, заполненной листанием нот, музыканты в белых отглаженных гимнастерках заиграли “На сопках Маньчжурии”, мужественный вальс, под который как-то стыдно танцевать. Женщины застыли, думая о грядущей войне – как без нее в окруженной врагами Советской стране? – а мужчины подобрались, подтянули животы и враз посуровели.

Тут Агафонкин и приметил Отправителя. Тот – полный, бело-парусиновый, с лоснящимся от киевского летнего жара лицом – оглядывался в поисках Агафонкина, знал, ждал встречи, уведомленный неясно как и кем.

Отправители и Адресаты делились на “уведомленных” и “темных”. “Темные” не знали о своей миссии, пока не появлялся Агафонкин и не разъяснял им, что нужно. Многие отказывались верить, крестились, а некоторые начинали кричать, призывая на помощь домашних и городовых (это, понятное дело, при царском режиме). “Уведомленные” же состояли как бы на службе и не то чтобы общались с ***В***, но загадочным образом знали о прибытии Агафонкина и предстоящих Доставках-Выемках.

Полустасов был из “уведомленных”.

Карманные часы “Гострест Точмех”, по случаю путешествия в 30-е врученные Агафонкину Митьком, показывали 15:33, самое время начинать.

Агафонкин вежливо посторонил стоящего между ним и Полустасовым военного – *извините товарищ приятеля заметил* – и оказался рядом с нужным ему толстым, высоким и уверенным человеком. От того пахло смесью пота и резкого одеколона, употребляемого после бритья. Так пахнут здоровые, полные сил мужчины. Полустасов вблизи казался моложе, и Агафонкин пытался не думать, что через два года этого человека ждет грустный конец.

– Здравствуйте, товарищ, – поприветствовал Агафонкин, стараясь звучать по-местному протяжно. – Жаркий выходной выдался.

Фраза эта была не обязательной, просто Агафонкин всегда старался, чтобы Контакт происходил как можно естественней.

Полустасов посмотрел на него мельком, кивнул и повернулся в другую сторону, не желая поддерживать случайный разговор. Через мгновение он, однако, осознал, что тот, кого он ждал, прибыл, и обернулся к Агафонкину. Наступила

П А У З А

Полустасов смотрел сначала с недоверием, затем робко, а потом и вовсе куда-то мимо Агафонкина.

– Назовитесь, товарищ, – негромко приказал Агафонкин. С “уведомленными” процедура Контакта была проще, но идентификация считалась обязательной.

– Полустасов Аркадий Михайлович, – неожиданно высоким голосом представился Полустасов.

Он осторожно посмотрел на Агафонкина, проверяя правоту своей уверенности в происходящем, и, подумав, чуть более тихо добавил:

– В командировке из Харькова.

“Контакт, – подумал Агафонкин. – Приступаю к Выемке”.

Вслух же он сказал:

– Рад знакомству, Аркадий Михайлович. У вас для меня должен быть предмет.

Полустасов засуетился, задышал чаще и вдруг осел, поверив наконец в происходящее. Агафонкин знал, что многие “уведомленные” хотя и ждали, что однажды их посетят, но верили в это мало. Как людям ведомо, например, что у земли имеются магнитные полюса, но знание это остается абстрактным и мало относящимся к их повседневной жизни.

– А мы, товарищ, прямо здесь обменяемся? – горячим шепотом прошелестел Полустасов. – На людях?

Он обернулся, подозрительно осмотрев отдыхающих, и чуть кивнул Агафонкину на военного мужчину. Военный тем временем пристально глядел на скромно одетую девушку с уложенными вокруг головы тяжелыми кольцами черных кос a la Леся Украинка (или Юлия Тимошенко, в зависимости от системы ассоциативных референций). Девушка глаз не прятала, но и не улыбалась первой. “Умница, – мысленно похвалил ее Агафонкин, – больше будет ценить”.

– Давайте пройдемся вокруг фонтана, – предложил он Полустасову, взяв того под локоть, – прогуляемся.

Агафонкин не жалел людей, кому суждено было умереть молодыми, поскольку знал: смерти не бывает. Он взглянул на сопящего Полустасова, которого должны были через два года расстрелять, и чуть было не сказал это вслух. Удержался: зачем человека тревожить?

Собственно, вывод о бессмертии принадлежал не ему, а Матвею Никаноровичу. День случился особый, все в Квартире ожидали появления ***В*** самым скорым временем, хотя и не могли объяснить почему. Такие моменты возникали периодически – раз, а то и два каждый год – и сопровождались подъемом настроения и оживленностью Матвея Никаноровича, объявлявшего скорое появление ***В*** неизбежным. Митек ничего не подтверждал, но и не отрицал, и в ответ на все вопросы согласно кивал. В такую пору он обычно затевал небольшой ремонт.

– И то, – говорил Митек, соскабливая облупившуюся штукатурку в кухне, – давно что-то не был…

На все расспросы Агафонкина, когда ***В*** навещал Квартиру последний раз, Митек по обыкновению отвечал с томительной неясностью:

– А бывало, Алеша, что и приезжал, бывало. Год-то я, понятно, запамятовал, но раньше появлялся почаще. Нынче, я думаю, занят очень. Мы ж у него не одни.

Больше от Митька Агафонкину добиться ничего не удавалось, и он удовлетворялся выслушиванием спекулятивных соображений Матвея Никаноровича, которыми тот делился с Платоном Тер-Меликяном. Во время одного из таких разговоров Матвей Никанорович и пришел к выводу о бессмертии, обещанном агафонкинским видением времени.

– Вдумайтесь, Платон, – в комнату лился летний вечер с запахами и шума́ми улицы, Матвея Никаноровича только закончили купать, и он лежал на диване, завернутый в пушистое розовое полотенце, впитывавшее окропившую его маленькое кругленькое тельце влагу. – Если Алеша прав и моменты жизни продолжают происходить вечно, это означает бессмертие, а стало быть…

Он хотел сказать что-то еще, но Митек, хлопотавший рядом, закутал его голову полотенцем – *подсушить чтоб сквозняк не схватил*

Вместо откровения получилось невнятное бульканье.

Платон подождал, пока покрытая детским пушком голова появилась снова, и согласно кивнул.

– Вы, Матвей Никанорович, полагаете, что, умерев в так называемом условном настоящем, мы продолжаем жить в условном прошлом?

Матвей Никанорович послушно просунул ручки в предложенную Митьком салатовую распашонку и удовлетворенно кивнул.

– Именно так, мой догадливый друг. Если все моменты жизни одновременны, то существует столько нас, сколько этих моментов. Гибель в одном из них никак не означает гибели в другом, поскольку тот, другой, момент не закончился и не закончится никогда. И все другие миллиарды моментов нашей жизни никогда не закончатся. Вы, Платон, можете – хотя я искренне надеюсь, что этого не произойдет, – выйдя отсюда, попасть под трамвай, но другой вы будете продолжать сидеть здесь и дарить нам счастье своего вечного присутствия. Одетый в синие ползунки, Матвей Никанорович откинулся на плюшевую спинку коричневого дивана, пососал любимую погремушку и пророчески произнес:

– Оттого я и утверждаю, что коли Алешино видение времени верно, человечество бессмертно. Вот.

Он победно оглянулся вокруг, проверяя, не собирается ли кто-нибудь из присутствующих оспорить его утверждение.

Никто не возражал, и вопрос о бессмертии считался с тех пор среди обитателей Квартиры делом решенным.

Сейчас, ласковым июльским киевским воскресеньем 1934 года, Агафонкин хотел было поделиться знанием человеческого бессмертия с ответственным советским работником Полустасовым, но вовремя себя остановил. Вместо этого он вытащил планшет с Назначением и еще раз посмотрел в графу ОБЪЕКТ ВЫЕМКИ. Там стояло одно слово. Агафонкин показал планшет Полустасову.

– Принесли? – спросил Агафонкин.

Тот засуетился, стал отчего-то меньше ростом и достал из кармана широких парусиновых брюк завернутый в светлую тряпицу небольшой предмет.

– Пожалуйста, – попытался улыбнуться Полустасов. – В полной сохранности.

Агафонкин размотал тряпицу; на ней лежала разрисованная зеленым, желтым и красным маленькая, с ладонь, юла. Агафонкин ее осмотрел, завернул и положил в карман летнего пиджака. Он вынул из другого кармана черный матерчатый мешочек, стянутый тесьмой. Агафонкин распустил тесьму, и на его подставленную ладонь соскользнул ярко-оранжевый

сердолик с крупную гайку. Сердолик был отполирован и просвечивал красным в тонких сколах. Полустасов смотрел на сердолик и часто моргал.

Агафонкин убрал сердолик в мешочек и затянул тесьму.

– Держите. – Агафонкин вложил мешочек в протянутую ладонь Полустасова. – За службу. Предъявите, когда время придет.

Повернулся и пошел прочь от Полустасова.

Тот догнал его метров через десять и жарко шепнул в плечо:

– Товарищ, товарищ, вы *там* передайте, что на прошлом заседании Совнаркома принято решение о переносе столицы Украинской ССР из Харькова в Киев. Вдруг это важно, товарищ?

Полустасов попытался заглянуть Агафонкину в глаза – посмотреть, важно ли, но Агафонкин не позволил и на ходу, впроброс, ответил через плечо, как обычно в таких случаях:

– *Там*, товарищ, это известно.

– Спасибо, – поблагодарил непонятно за что Полустасов. Он не хотел отпускать Агафонкина – тот был подтверждением необычности его жизни. – А я уж боялся, вы не придете. Я бы подождал – дело важное, понимаю. Да я здесь не один – с маленькой дочкой: жена в Харькове в больнице, не с кем оставить.

Он махнул рукой в сторону фонтана. Агафонкин посмотрел в том направлении. Остановился.

Они поговорили еще минут двадцать, затем Агафонкин взглянул на часы, кивнул ошеломленному Полустасову и пошел к выходу из парка. Агафонкин торопился: через три минуты он должен прикоснуться к инженеру Ковальчуку, поджидающему у входа в парк сослуживицу, чертежницу Дусю Кичкину, чтобы вернуться на Тропу в обратно. Ковальчук был его сегодняшний Носитель в 34-м.

Ковальчук, в белой кепке и такой же рубашке с отложным воротником, ожидал Дусю, где ему и было положено, выискивая ее чуть скошенными от трех кружек пива глазами и не замечая мир вокруг. Агафонкин, проходя мимо, коснулся его широкого рукава, потяжелел, словно на него положили цементную плиту, и, закрутившись, словно сам был засунутой в левый карман пиджака юлой, пригнув голову, прыгнул во время Ковальчука.

Следующая остановка на Тропе была *МоскваСтромынка9–11ноября1956года13:14*. Там, на лестничной клетке четвертого этажа старенький Ковальчук должен был повстречать соседку – молодую актрису Катю Никольскую, которой полагалось спешить на репетицию и опаздывать. Катя, Катерина Аркадиевна, в 2013-м, будучи уже восьмидесяти трех лет, содержалась в Доме ветеранов сцены и была выбрана Агафонкиным в качестве сегодняшнего Носителя для отправки и возвращения. Пустяковая Тропа получалась: два Носителя, смежный перекрест в одном месте.

Об этом Агафонкин подумать не успел, поскольку ощущение вращения мгновенно кончилось, и он уже стоял на лестничной клетке дома номер 9 по улице Стромынка рядом с лысым и постаревшим Ковальчуком, одетым в домашние полосатые штаны и старую шерстяную, местами подранную кофту когда-то бежевого цвета. Агафонкин оглянулся, чтобы дотронуться до Катерины Аркадиевны, которой полагалось в это время выйти из своей квартиры за его спиной, и замер: Катерины Аркадиевны там не было.

Такого случиться не могло. Ни теоретически, ни практически. Агафонкин возвращался той же Тропой, что использовал для Назначения в Киев 34-го года: подошел утром после завтрака к полоумной, разговаривающей с невидимыми собеседниками Катерине Аркадиевне, еще раз (кажется, двадцатый) просмотрел, где ее перекрест со следующим Носителем, инженером Ковальчуком. Нагнулся, сказал ласковые слова, дотронулся легко – и вот она – лестничная клетка дома номер 9, вот спешащая на репетицию молодая актриса Катя Никольская, а вот и вышедший за газетой потрепанный жизнью инженер Ковальчук (*с утра за прес-*

сой не ходил не здоровилось). Дотронулся до Ковальчука и оказался рядом с ним в 8 июле 1934-го, по дороге к Парку Пушкина, где ждало того свидание с чертежницей Кичкиной. Ковальчук задержался у пивного ларька, а Агафонкин поспешил в парк, ему задерживаться нельзя: у него – Назначение. Выемка.

Агафонкин возвращался из Киева тем же путем и в то же мгновение, через которое в Киев переправился. Вот она – лестничная клетка, вот инженер Ковальчук, его наконец заметивший и подслеповато щурящийся – *сосед ли? знакомый ли человек?* Катя Никольская должна была в это мгновение закрывать дверь квартиры, опаздывая, не замечая никого и ничего вокруг.

Кати Никольской, однако, в этом мгновении не было. Такого случиться решительно не могло: она уже в этом мгновении была по дороге Агафонкина в Киев и, стало быть, не могла в нем не быть.

А ее не было.

Глава первая МоскваСтромынка9–11ноября1956года13:14

Случалось, он застревал: человек, на которого Агафонкин рассчитывал, не оказывался там, где должен был быть. Тогда Агафонкин искал другую Тропу.

Случалось это – всегда – по вине самого Агафонкина: то время чуть перепутает, а то и место. Ничего страшного не происходило. Немного поплутал, нашел своего Носителя – и в путь.

Но чтобы Носителя не было в том моменте и на том месте – в том Событии, где Агафонкин его (а в данном случае ее) уже поменял на Тропе в другое пространство-время, где она уже стояла, запирала дверь ключиком, волновалась, спеша на репетицию в Театр оперетты, – *роль маленькая и та на замене а все же шанс* – где Агафонкин как бы вышел из ее каракулевой шубки, отделился и перескочил во время старенького, полулысого инженера Ковальчука (а в 34-м бравый был хлопец, гарный), отправляющегося вниз, к синим почтовым ящикам, такого с Агафонкиным не приключалось. И понятно почему – такого и приключиться не могло: если Носитель был в определенном Событии, обозначенном пространственно-временными координатами, то он там и должен быть. Ведь не может же, право, город Воронеж в одно и то же время и находиться, и не находиться на 51°42’ северной широты 39°13’ восточной долготы. Абсурд.

Кати Никольской на лестничной клетке четвертого этажа дома номер 9 по улице Стромынка в 13 часов 14 минут 11 ноября 1956 года не было. Хотя однажды она в этом Событии уже была. Дверь квартиры, которую Катя волнуясь запирала по пути Агафонкина в Киев 1934-го, дверь, обтянутая хорошим кожзаменителем, стояла закрытой, преграждая возвращение Агафонкина в декабрь 2013 года. За спиной подслеповато щурился инженер Ковальчук, стараясь припомнить, как очутился рядом этот высокий молодой мужчина с копной каштановых кудрей.

– Вы, товарищ, к Парамоновым? – осведомился Ковальчук. – В 53-ю?

к парамоновым? почему к парамоновым?

Агафонкин точно знал, что в Доме ветеранов сцены Катерина Аркадиевна значилась как Никольская. Он быстро прокручивал в голове все известное ему об этой женщине.

Она была 30-го года рождения и одна из трех московских актрис в Доме ветеранов – редкий экземпляр. Агафонкин помнил ее появление два месяца назад: Катерину Аркадиевну привез сын – неприятный, красивый мужчина лет пятидесяти, с чуть отвисшей нижней губой и надменным взглядом хорошо устроившегося лакея. Директор Дома ветеранов Хазович лично показывал ему комнаты, где жили старушки – *вот они наша слава украшение российской сцены вашей матушке александр александрович тут будет с кем вспомнить былые времена* Александр Александрович чуть кивал в ответ, не размениваясь на ненужные слова, и смотрел вокруг невнимательно. Он скользнул взглядом по Агафонкину, протирающему линолеум влажной тряпкой, остался им недоволен и прошел дальше по коридору, оставляя на свежевымытом полу четкие следы рифленых подошв.

Катерина Аркадиевна былое вспоминала, но собеседники для этого ей оказались не нужны: говорила она исключительно сама с собой и все больше отрывками когда-то сыгранных (а, возможно, так и не сыгранных и оттого еще более желанных) ролей. Часто она пела у себя в комнате, танцуя под свои арии, и затем приседала в глубоком реверансе перед видимой ей одной публикой. Агафонкин, если оказывался поблизости, обязательно аплодировал, но Катерина Аркадиевна его не слышала: там, где она пела и танцевала, Агафонкина не было.

Нянечки кормили ее с ложки. Катерина Аркадиевна страдала Альцгеймером и забыла, как есть. Она не узнавала знакомых, не реагировала на незнакомых, но была весела и без

угрюмой сосредоточенности, свойственной подобным больным. Случалось ли это от хорошего характера или болезнь не окончательно пробралась в нее, стирая на своем пути воспоминания, привычки, рефлексы, – того Агафонкин не ведал, да и не интересовался: Катерина Аркадиевна, как и все содержавшиеся в Доме ветеранов сцены, служили ему удобными Носителями ввиду их долгих и географически разнообразных жизней. В это Назначение он использовал ее первый раз.

– К Парамоновым? – переспросил Агафонкин. – Нет, товарищ Ковальчук, я к артистке Никольской.

Инженер успокоился, услышав свое имя: гражданин оказался здешним, должно быть, новый сосед этажом ниже. Да и одет гражданин был слишком легко, чтобы прийти с улицы: рубашка с открытым воротником, тонкий чесучовый пиджак и светлые брюки. Не по московскому ноябрю был одет гражданин (а вот в июльском Киеве 34-го такой наряд казался очень даже уместен).

– Постучитесь, – посоветовал Ковальчук (в его совете таилось коварство, поскольку он знал, что стук через вату под кожзаменителем не будет слышен и стучать пышнокудрому придется долго, но отказать себе в развлечении в скучный осенний хмурый день старый инженер не мог). – Катенька-то наша Никольская по сцене, а по мужу они – Парамоновы.

Агафонкин кивнул. Стучать он не стал, а позвонил в черный важный звонок с белой кнопкой посредине. Звонок был и вправду знатный: в нем чувствовались слова “главк” и “спецпаек”.

Катерина Аркадиевна, вернее, ее двадцатишестилетняя версия, открыла дверь немедленно, словно стояла за ней, подслушивая разговор Агафонкина с Ковальчуком. Она взглянула на Агафонкина, перевела взгляд на Ковальчука – *добрый день петр васильевич* – и затем снова на Агафонкина.

– А, – сказала Катя Никольская, – вы из театра, с пьесой. Заходите, товарищ курьер.

Катя повернулась и пошла в глубь квартиры. Агафонкин не успел до нее дотронуться и, секунду помедлив, пошел вслед за ней, кивнув Ковальчуку на прощание. Дверь он прикрыл, чтобы потом, когда исчезнет, Кате все это показалось наваждением, сном.

Сон в осенний полдень 1956 года. (Уильям Шекспир. В одном акте.)

Квартира была хороша – всюду солидность и достаток: вдоль стен широкого коридора до самого потолка матово отсвечивали застекленные полки с толстыми книгами. У противоположной стены стоял старой работы резной секретер с крышкой из прочных бамбуковых реек. Агафонкин решил, что секретер здесь не нужен, поскольку использовать его в коридоре казалось решительно невозможным. Да и стула рядом не было. Стало быть, жильцы могли позволить себе красивые вещи просто из-за их красоты, что свидетельствовало о привилегии. Функциональность, знал Агафонкин, обычно порождение бедности. Запас же располагает к излишку – без нужды, для удовольствия.

За секретером – прямоугольник света – приглашала войти открытая дверь. Агафонкин осторожно заглянул внутрь: пусто. Перед вынесенным за стену дома фонарем оконного проема, делавшего комнату овальной, стояли длинный письменный стол, обтянутый темно-зеленой кожей, и шоколадного цвета кресло с резными львиными головами на подлокотниках. Стол был пуст, лишь чернильный прибор “Рабочий и Колхозница” нарушал совершенство его кожаной поверхности. Так, случается, лишняя мысль нарушает состояние умственного покоя.

– Я здесь, – позвал Агафонкина Катин голос. – В гостиной.

Агафонкин пошел на голос.

Катя ждала его в светлой комнате, где, несмотря на количество мебели, ощущался простор. У дальней стены – под большой картиной с тосканским видом мягко скатывающихся лесистых холмов – звал присесть глубокий диван в строгую синюю полоску с кнопками больших декоративных пуговиц на подушках сидений; у высокого окна, обрамленного бутылочного цвета плюшевыми шторами, стояло не то кресло, не то скамейка для двоих с вырезанными на спинке танцующими пастушком и пастушкой; дальше – шкаф со стеклянными дверцами, за которыми освещенные ровным тусклым светом московской осени, лившимся в комнату из окна, отблескивали обеденный и десертный сервизы в крупных желтых цветах. У дивана расположились журнальный столик светло-лакированного дерева и пухлые кремовые пуфы для ног. В центре комнаты, деля ее на две неровные части, тянулся темный, поблескивающий полировкой стол на десять персон, окруженный тяжелыми стульями в чехлах. Рядом со столом Агафонкина ждала Катя Никольская.

Она казалась выше, чем в старости. Катя была не то что красивой, а скорее удивительной: удлиненный нежный овал лица с классическими чертами нарушали глаза какого-то странного, почти рысьего разреза. Глаза были словно от другого лица: такие глаза подошли бы дикарке из джунглей. Или портовой проститутке.

Катя походила на тургеневскую девушку: тонкая, высокая, с забранными наверх волосами цвета грецкого ореха – колосок в русском поле. Глаза же, глаза были из бунинских рассказов, его фантазий о гимназистках, страдающих от собственной непорочности и не могущих дождаться, чтобы от нее освободиться, чтобы быстрее прыгнуть в омут, где эта непорочность утонет, опустится на дно. От глаз шел золотистый блеск, словно в них закапали прозрачный светлый душистый мед.

Агафонкин не помнил этот разрез глаз у старухи Катерины Аркадиевны. И этот удивительный золотой блеск. Возможно, впечатление скрадывалось множеством морщин. Или он просто не присматривался.

– Э-э, – сказал Агафонкин, обдумывая, как, не напугав, подойти поближе, чтобы дотронуться до стоящей у стола женщины, превратив ее таким образом из женщины в Носителя. Он сделал маленький шаг вперед, остановился. – Я тут…

– Алеша, любимый! – Катя протянула к нему тонкие руки и поманила длинными пальцами. – Иди же ко мне, глупый.

алеша? алеша?

Агафонкин было повиновался и шагнул к ней, но остановился: *алеша?*

Катя не дала ему времени осмыслить, что все это означает. Она не стала ждать, пока Агафонкин подойдет, и, словно по струнке, ступая длинными ногами в коричневых туфлях на невысоких крепких каблуках в одну линию – как манекенщицы по подиуму, пошла к Агафонкину. Она обняла его, прижалась, замерла, будто хотела запомнить, подняла к нему лицо и поцеловала в губы, просунув между ними кончик своего горячего языка, пытаясь найти его язык.

Тут бы Агафонкину и прыгнуть в 2013-й. Не смог, не прыгнул. Но и на поцелуй не ответил.

– Что ты, Алеша? – отстранилась Катя. – Он в командировке, в Свердловске, до воскресенья. А домработницу я отпустила домой, в Тулу.

откуда она меня знает?

Агафонкин был уверен, что ранее не использовал Катерину Аркадиевну как Носителя.

– Алеша, – в голосе тревога, обида, непонимание, – ты не рад меня видеть?

Агафонкин погладил ее по щеке, чтобы успокоить. Их отношения явно складывались серьезнее, чем привычные для Агафонкина связи.

Женщины его не любили: настоящая любовь сродни страданию, оттого и держит человека, словно в тисках, туманит ум, топит в чувствах. С Агафонкиным женщины сходились

легко, обычно инициируя отношения, и так же легко расставались. Ни обещаний, ни упреков, ни взаимных обманов о будущем – ничего этого не существовало между женщинами и Агафонкиным. Связь – подходящее слово. Только еще легче, еще необязательнее.

– Ты, Алеша, не годишься для серьезных отношений, – объясняла ему одна из его ранних любовниц, художница Вера. – Слишком красив и слишком беден. Ты вообще не годишься для чувств, а только разве что для ощущений. С тобой и поговорить обо всем можно, и посмеяться, и предаться эросу. А главное, ни на что не рассчитываешь, никаких иллюзий. С тобою нет будущего, а значит, и страха его потерять. Чистая радость.

Агафонкина смущало высокопарное "предаться эросу" и хотелось заменить его простым "потрахаться", но приходилось быть осторожным, поскольку многие слова, известные Агафонкину, не были частью Вериного лексикона: их беседы происходили в голодном Петрограде 20-го года – Гражданская в полном разгаре, наступление Юденича на город только отбили (в этот раз Агафонкин решил для справедливости повоевать на стороне большевиков, поскольку уже дважды бывал белым офицером), и все ждали интервенции белофиннов.

Вера, более всех своих художественных достижений гордившаяся тем, что однажды ей удалось переспать с поэтом Маяковским, – *ничего особенного Алеша один рост и самомнение* – как и вся тогдашняя петроградская интеллигенция, голодала и прикидывала, потратить ли оставшиеся силы на то, чтобы прибиться к одному посещавшему Дом литераторов на Бассейной красному комиссару – она ходила туда ежедневно есть суп по талонам, полученным через критика Ходасевича, – или постараться эмигрировать в Прагу, где ее ждал муж. Она часто обсуждала с Агафонкиным свои перспективы, вовлекавшие других мужчин. Обсуждения перемежались получением ею ощущений – взамен чувств.

Агафонкин принимал функциональное к себе отношение как должное: он жалел женщин и старался скрасить их зачастую нелегкую жизнь, в которой нужно завлекать мужчин, чтобы потом от них же зависеть. Что он мог предложить? Недолгие моменты счастья, в котором не было другой цели, кроме самого счастья. Возвращение в детство. Сексуальная дружба. Вроде мастурбации, но с реальным объектом.

Он, наконец, решился взглянуть в Катины золотистые глаза. "С этой – серьезно, – понял Агафонкин. – Она думает не о себе, а о нас. Как же это произошло? Не могу же я не помнить? А вот не помню".

– Катя, – хрипло сказал Агафонкин, – понимаешь…

– Катя? Катя? – на выдохе – школа переживания – перебила его женщина. – Значит, теперь я – Катя?

что? кто же она такая? и где тогда катерина аркадиевна?

– А раньше звал *Катюша*, – упавшим голосом сказала Катя Никольская.

вот в чем дело

– Что ты, Катюш… – Агафонкин прижал ее к себе, погладил по волосам, поцеловал в ободок выступающего под ними ушка. – Ну что ты напридумывала себе.

– Значит, любишь, да? – Катя снова запрокинула к нему уже счастливое лицо, улыбнулась. – Скажи, что любишь, что не поменялся, – потребовала она.

"А что, скажу и выясню, как все началось, – решил Агафонкин. – Выясню и снова на Тропу. Мне же юлу нужно Митьку передать".

С юлой Агафонкин лукавил: он мог находиться в любом пространстве-времени сколько угодно, а потом вернуться в тот момент, откуда отбыл, как человек, скажем, может отойти от фонарного столба на сто метров, а затем к нему возвратиться. Никто и не знал, что Агафонкин отсутствовал, проживая подчас в другом Событии по нескольку лет. Получалось, что он везде находился одновременно. Как, впрочем, и все остальные люди. Просто Агафонкин в отличие от них это знал. Да еще его Линия Событий не ограничивалась его собственной жизнью.

Одним из мест, где Агафонкин проводил много времени, иногда не покидая его месяцами, было *Удольное1861год*. Он попал туда случайно, по наитию, что ли. Но об этом потом.

Катя уже вела Агафонкина к дивану в полоску, где принялась снимать с него светлый пиджак и, расстегнув рубашку, целовала в шею, спускаясь губами к груди. “Почему бы и нет? – подумал Агафонкин. – А потом встану на Тропу. Пропаду, перестану появляться. Или буду продолжать. Главное, понять, откуда мы знаем друг друга. Правило я вроде не нарушаю”.

Правило у Курьера было одно: Курьер не вмешивается.

Правило ему объяснил Митек. Агафонкину исполнилось тринадцать, и Митек стал готовить его к Назначениям: как Контакт установить, сколько времени на Контакт отводится да с какими словами вручать Отправителю *малыйсердолик*. Агафонкин освоил процедуру быстро, не задавая лишних вопросов. Ему не терпелось взять свою первую Тропу.

– Главное, Алеша, – Митек в последний раз проверил правильность одежды, обвязал шею толстым колючим шарфом – Агафонкин отправлялся в холодное Событие *Мурманск-26декабря1971года0:28*, – помни Правило Курьера: Курьер не вмешивается. Взял-передал и обратно. Если видишь на человеке беду, что плохое с ним должно приключиться – не предупреждай, не помогай.

Агафонкин кивнул и пообещал не вмешиваться. Его тогда это мало интересовало.

Позже, слушая споры Матвея Никаноровича и Платона Тер-Меликяна о его, агафонкинском, видении времени, он стал сомневаться и не один раз просил Митька объяснить ему Правило:

– Почему? – спрашивал Агафонкин – на растопыренных ладонях накручена шерсть, которую Митек сматывал в большие клубки, хотя никогда, никогда Агафонкин не видел, чтобы Митек что-то из этой шерсти вязал (да и зачем? Их одежда росла сама собой). – Ведь если действия в прошлом не оказывают влияние на будущее, поскольку будущее уже совершилось, а вернее, как и прошлое, совершается постоянно, то изменить ничего нельзя. Какая тогда, Митек, разница, если я помогу кому-то из Адресатов-Отправителей в условном прошлом: от этого ж ничего не поменяется? Просто станет одним кадром, одним вариантом больше, без продолжения. Так?

– Может, и так, – не спорил Митек, ловко наматывая нитку на пухнущий пушистой шерстью клубок. – Да только вмешиваться нельзя.

– Отчего ж нельзя, если ничего не поменяется?

– А если ничего не поменяется, Алеша, то какой смысл вмешиваться? – без особого, впрочем, любопытства интересовался Митек. – Сам подумай, не маленький.

Агафонкин думал. А надумав, находил Митька за его постоянной домашней работой и говорил:

– Чтоб себя лучше чувствовать, для того и вмешиваться. Чтоб не стоять-улыбаться, зная, что на человека через два часа кирпич упадет, а предупредить: не ходите по этой стороне улицы.

– Ты, Алеша, коли чувствовать себя лучше хочешь, пойди поспи, отдохни, – советовал Митек. – Или вкусного поешь. Хочешь, картофельные оладьи пожарю? Сверху сыру натрем?

Агафонкин не хотел оладьев и продолжал тревожить Митька расспросами, пока тот однажды не сказал:

– Думай, Алеша, что хочешь, а Правило Курьера не нарушай. А то с тебя спросят. Рад не будешь.

Голос у Митька звучал особенно глухо, словно он говорил из туннеля. Агафонкина убедил именно этот голос больше, чем слова.

“Откуда она меня знает? – думал Агафонкин. – Выяснить надо, посмотреть на нашу первую встречу”. Думал он об этом, впрочем, без особого энтузиазма от того, что Агафонкину в этот момент было слишком хорошо, и он послушно таял, уступая Катиным ласкам.

Катя мягко отклонила попытки Агафонкина ответить взаимностью, словно сперва желала утвердить свое на него право, подтвержденное безусловностью агафонкинского оргазма. Агафонкин перестал сопротивляться и позволил ее мягким горячим губам, ее влажному требовательному языку и тонким ищущим пальцам унести себя вниз по теплой реке. Он закрыл глаза и отдался потоку, превратился в последовательность ощущений – без мыслей, намерений, воли. Так твердые кристаллы сахара теряют свою природу и тают в горячем чае, становясь подслащенной водой.

– Тебе хорошо было? – шепнула Катя ему в ложбинку ключицы. – Хорошо?

Агафонкин кивнул и погладил ее по распустившимся волосам. Он слабо застонал, подтверждая, что было хорошо.

Катя прижалась к нему, поцеловала в шею и сказала:

– Не пугай меня так больше, Алеша. Я же тебя люблю. И хочу знать, что ты меня любишь.

Она приподняла голову и заглянула в агафонкинские зеленые глаза, пытаясь разглядеть в них ответ, прежде чем задаст вопрос:

– Ты ведь любишь меня, Алеша? Я ведь твоя, да?

Как правило, Агафонкин старался не врать. Бывало, что женщинам хотелось немного поиграть, и они шептали ему слова и требовали ответных слов. Агафонкин охотно говорил эти слова, оттого что они ровным счетом ничего не значили для обоих и просто служили еще одним элементом ощущений, вроде скользящих по телу рук и губ.

С Катей, однако, слова имели значение. А значение подразумевало ответственность.

– Конечно, люблю, маленькая, – неожиданно услышал свой баритон Агафонкин. – Никого так никогда не любил.

Катя засмеялась и стала целовать его в губы, шею, плечи, шепча, глотая звуки и поцелуи:

– Мой, мой, мой…

Это нужно было решительно прекратить.

а может не нужно

– Катюша, – Агафонкин не стал ее останавливать, чтоб не испугать, не встревожить – он уже понял, что она воспринимала с опаской любую попытку Агафонкина ограничить физическую близость, – а ты почему не на репетиции?

– Как почему? Ты же мне позвонил утром и попросил никуда не ходить, ждать тебя после часа дня. Я в театр сообщила, что не здорова, и сижу, тебя жду.

Агафонкин замер, и Катя, почувствовав испуг в его теле, приподнялась на локте:

– Что, Алеша? Ты мне сам сказал…

– Так ты никуда сегодня не выходила? – спросил Агафонкин, стараясь звучать безразлично. – Даже дверь не открывала?

– Нет, – ответила Катя. – Встала утром, проводила Сашу в командировку, отпустила Глафиру до среды и села тебя ждать.

Она пыталась понять по агафонкинским глазам, все ли сделала правильно, не сердится ли он. Агафонкин, тронутый ее зависимостью от своего одобрения, на мгновение забыл страх от происходящего, прижал, словно хотел укрыть от беды. Но было поздно: от такой беды не укроешь.

Глава первая МоскваКвартира3-йНеопалимовскийпереулок-28декабря2013года7:36

Он проснулся и не сразу понял где. Агафонкин приоткрыл глаза и по знакомым очертаниям предметов в предрассветной тьме разобрал – у себя в комнате, в Квартире: вот старый книжный шкаф, уставленный отобранными Платоном книгами – *эти алеша прочитать обязательно*, вот комод с тремя дверцами, а вот – у большого окна – стол, за которым он все детство выполнял задания, данные Матвеем Никаноровичем – *пространственное отражение квадратичной интерполяции или эволюция понятия генома или языковые формы познания*; для обучения Агафонкина Матвей Никанорович выбирал исключительно темы, интересные ему самому.

Агафонкин любил это время зимой – ночь отступила, но еще борется, не сдается, словно женщина, которая знает, что любви больше нет, но отказывается в это верить и не хочет тебя отпустить. Ночь – женщина: тьма, тайна; день – мужчина: свет, ясность. Агафонкин где-то это читал. Только не помнил где.

Он потянулся, нежась в кровати, и вдруг понял, что лежит поверх одеяла, одетый. Агафонкин ощупал себя – на нем был летний костюм, в котором он взял Тропу в *Киев-7июля1934-го*. И сразу – проблеск молнии в грозовом небе – его ударило, заставив сесть в темноте комнаты: Катя. Катя Никольская.

Внутри, словно темная вода, все еще стоял сон, только о чем – Агафонкин не мог вспомнить. Катя – приснилась ли она ему? Как он вернулся обратно, в Квартиру? Кто был Носитель? Какой сегодня день? Какой год?

Агафонкин спустил ноги на пол и осознал, что обут: он спал в легких двухцветных туфлях, выданных Митьком по случаю Тропы в 30-е. Такого с ним никогда не случалось, разве что в окопах во время Русско-турецкой войны, когда служил в Ахалцыхском отряде Кавказского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Девеля. Об этой войне у Агафонкина, кстати, остались самые антисанитарные воспоминания: одна оборона Баязетской цитадели, осажденной войсками Фаик-паши, во время которой гарнизон крепости (и пробравшийся к ним Агафонкин) не мылся целый месяц, экономя ценную воду, приводила его в мрачное состояние духа. Надо, впрочем, отметить, что, кроме Агафонкина, изнеженного комфортом современности, среди защитников цитадели мало кто страдал от невозможности помыться.

“Нужно включить свет, посмотреть на календарь”, – решил Агафонкин. С детства на стене между столом и комодом висел календарь, повешенный Митьком. Календарь не выглядел как календарь: это был скорее глянцевый плакат, на котором сверху синим были вытеснены день, число, месяц и год, а ниже оранжевыми печатными буквами горело одно слово – СЕГОДНЯ. Числа и дни менялись сами, слово же оставалось, нетронутое тщетной попыткой людского сознания заключить время в понятные ему границы.

Позже Агафонкин увидел обычные календари – настольные и настенные – и к удивлению своему обнаружил, что числа на них не менялись сами. Агафонкин решил не спать по ночам, чтобы увидеть момент, когда буквы и цифры на календаре приобретут другое значение, отметив смену дня, месяца, года, но ему это никогда не удавалось: он неотрывно смотрел на календарь, моргал от усердия и вдруг понимал, что вторник стал средой, 14-е – 15-м, и время уронило в свою копилку еще один день. От Митька, как водится, объяснений ждать не приходилось – *ну что такого алеша календарь он на то и календарь чтоб дни отмечать* – и Агафонкин принял это, как и многое из того, что являлось частью жизни Квартиры, пройдя

обычный для него путь от восприятия этой жизни как нормальной и единственно возможной до необъяснимой, противоречащей правилам общедолжного, и, наконец, как одновременно и нормальной, и необъяснимой.

“Какое сегодня СЕГОДНЯ?” – думал Агафонкин, нащупывая кнопку большой лампы с золотистым абажуром на тумбочке у кровати.

Сегодня оказалось 28-м декабря 2013 года. Агафонкин встал, чтобы пойти умыться, хотел снять помятый пиджак и остановился, похолодев: в левом кармане не было юлы.

Он ощупал себя еще раз, нагнулся и полез под кровать, зная, что ничего не найдет, и липкий страх в самом низу живота – *где где потерял оставил* ***В*** *не простит с него спросят говорил ему митек тысячу раз говорил после выемки сразу домой объект передать не слушал зарвался где где потерял* Агафонкин сел на коврик перед кроватью – обдумать, вспомнить.

Единственным местом, где он мог оставить юлу, была квартира Кати Никольской в Событии *МоскваСтромынка9-11ноября1956года13:14*. Больше он нигде не бывал, не задерживался и – что важно – не раздевался. Агафонкин знал, что нужно срочно туда вернуться, и для этого он должен поехать на работу, в Дом ветеранов сцены, подойти к Катерине Аркадиевне, дотронуться до нее – и вот она, Стромынка, дом 9, проще не бывает.

Квартира была заполнена тишиной. Утренняя тьма коридора окутала Агафонкина черной мягкой шалью. Он прошел мимо открытой двери гостиной, откуда сквозь большие окна старого дома проникал полусвет зимней улицы – переливчатый спектр желтых фонарей и белого снега. Гостиная была пуста, как и водится в это время: ее дневной обитатель Матвей Никанорович спал в кроватке у себя в спальне. Агафонкин пошел дальше по коридору на кухню, где надеялся застать Митька: тот вставал рано и принимался возиться с делами, пока обитатели Квартиры досматривали сны.

Прямо по коридору – темный туннель – располагались комнаты Матвея Никаноровича и Митька. Свет у Митька не горел, но это не значило, что он спит: Митек был экономен и, выйдя из комнаты, всегда гасил свет. “На кухне уже, тесто на блины заводит”, – решил Агафонкин и повернул налево по коридору: здесь – в коротком отсеке, упиравшемся в зеленую стену с висящим на ней ничьим велосипедом, на котором никто никогда не ездил, – находились кухня, ванная и – в самом конце – комната Мансура с вечно закрытой белой дверью.

Агафонкин остановился: в комнате Мансура горел свет. Это было не то что странно, а странно на редкость: Мансур спал допоздна, выходя в общее пространство Квартиры только ночью. Он ограничивал передвижения необходимым – кухней, ванной, лишь изредка появляясь в большом коридоре, где клянчил у Митька деньги на выпивку. Получив отказ, Мансур уходил к себе или подолгу стоял в дверном проеме гостиной, слушая разговоры Матвея Никаноровича с Платоном Тер-Меликяном, не пересекая границу порога и не вступая в беседу. Слушал Мансур насмешливо, снисходительно улыбаясь, как старшие слушают младших. С Матвеем Никаноровичем он никогда не разговаривал, хотя и здоровался.

“В туалет, должно быть, пошел. Что тут необычного”, – решил Агафонкин, одновременно успевая удивиться темноте и отсутствию на кухне Митька. Он хотел уже постучаться в комнату Митька, как вдруг услышал женский голос из мансуровской комнаты. Это был голос Кати Никольской. Она звала его, Агафонкина.

Он дошел до прямоугольника желтого света, падавшего из комнаты в мягкую плюшевую темь коридора, и заглянул внутрь. Комната Мансура – длинная и узкая, как аппендицит, – была заполнена ровным свечением, приходившим неясно откуда: ни люстра под потолком, ни лампочка на стене над застеленной одеялом верблюжьей шерсти кроватью не горели.

В комнате никого не было.

“Показалось, – подумал Агафонкин. – Волнуюсь, вот и мерещится всякое”. Он хотел уйти и вдруг скорее почувствовал, чем увидел, движение. Агафонкин остановился, присмотрелся.

показалось

В комнате Мансура все было, как обычно: маленький комод у окна, наваленные на полу и щербатом столе книги, тумбочка у кровати. На тумбочке лежала раскрытая книга, придавленная разноцветной матерчатой ящерицей, набитой песком. Ящерица, подаренная Мансуру Платоном, – *приличествует знаете ли кочевнику* – глядела на Агафонкина пришитыми бусинками-глазами. Затем она шевельнулась и спрыгнула на кровать. Ящерица побежала по темному одеялу и остановилась, замерев на белой наволочке подушки.

“Глупость, – успел подумать Агафонкин. – Она ж песком набита”. Он держал эту ящерицу в руках несколько раз, когда заходил к Мансуру, пытаясь убедить того мыть за собой посуду, и хорошо помнил, как песок разминался под пальцами, оставляя приятное ощущение податливости. Эффект достигался тем, что песок был набит нетуго, это позволяло гнуть спинку с матерчатым гребнем – *маленький дракон* – в разные стороны. Спинка была обтянута оранжевой тканью в желто-черную крапинку – *цвет пустыни* – и красиво контрастировала с кофейного цвета животом.

Ящерица повернулась к Агафонкину мордочкой с глазами-бусинками и нетерпеливо ударила по подушке длинным хвостом. Открыла сшитый узкий рот, из него посыпался светло-желтый песок. Агафонкин смотрел, как песок быстро покрыл белую подушку и стал ссыпаться на темное одеяло. Агафонкину захотелось спать. Песок продолжал сыпаться, берясь неизвестно откуда, словно в маленькой, размером с ладонь ящерице скрывалась Сахара.

Агафонкина сковало оцепенение. Его зрение сузилось, будто он смотрел через трубу и мог видеть лишь отдельные участки комнаты – *сквозь туннель*. И стол, и комод, и даже подоконник – были засыпаны песком, что прибывал и прибывал. Ящерица же, не уменьшаясь, сидела на подушке, время от времени хлестко шлепая по ней длинным хвостом. Оранжево-красно-черный хвост был подшит тканью кофейного цвета.

Агафонкин взглянул вниз: он стоял по щиколотку в светло-желтом песке. Вокруг, сколько мог охватить его туннельный взгляд, лежала пустыня. Пустыня была ровно-желтой, с наплывами барханов на горизонте. Барханы качались, переливаясь в дымке зноя.

Агафонкину стало очень холодно. Он попытался пошевелиться и не смог, словно был туго спеленат. В глаза заплывала темнота, и темнота эта шла от черных бусинок-глаз ящерицы: бусинки сковали Агафонкина, не давая дышать. Он не мог отвернуться, продолжая глядеть в эти черные точки, и затем бусинки-глаза втянули Агафонкина в себя, словно он был крошечной фигуркой, а вовсе не высоким – метр восемьдесят семь – мужчиной тридцати одного года.

Агафонкин понял, что попал внутрь ящерицы. Он неожиданно успокоился и огляделся. Внутри было так же светло, как и снаружи, та же пустыня, лишь у дальних барханов вырос город, куда вела утоптанная пешая дорога. Агафонкин знал – ему нужно туда. Он стряхнул оцепенение и пошел к городской стене, за которой выглядывали, стремясь в синее чистое небо плоские срезанные верхушки башен-зиккуратов.

Он знал: этот город – Москва.

Агафонкин дошел до открытых ворот и остановился. У высоких каменных стен шумел базар – с южным говором, восточным товаром и русскими бабами в черных платках. Торговали сладкий, мягкий, влажный от спелости золотистый урюк и рассыпчатую печеную крупную картошку; горячий, уложенный стопками круглый лаваш и овальные караваи серого хлеба; шипело покрывавшееся ровной корочкой мясо на мангалах и сильным похмельным духом тянуло от бочек с квашеной капустой и солеными огурцами. Никто не обращал на

Агафонкина внимания, словно не видели, словно он здесь и не здесь и просто смотрит кино на натянутом во весь мир экране.

Агафонкин захотел пить. Он заметил торговца водой: тот – в светлом бурнусе с накинутым на голову капюшоном – стоял чуть поодаль, рядом с маленьким осликом, на котором с двух сторон висели тяжелые кожаные бурдюки. У каждого бурдюка болталась привязанная на веревке железная солдатская кружка.

– Сколько за кружку, уважаемый? – спросил, подойдя, Агафонкин.

Торговец поднял голову. На Агафонкина взглянули черные глаза-бусинки, пришитые к желтоватой коже.

– Здравствуй, урус, – сказал Мансур. – Вот я тебя и поймал.

– Мансур? – спросил Агафонкин. – Ты? – Он подумал: “Ты – ящерица?”

– Ты глуп, урус, – покачал головой Мансур. – Конечно, я – ящерица. И ты – ящерица. Ведь мы с тобой находимся внутри ящерицы, стало быть, мы – ее часть.

Агафонкин решил не спорить, хотя мысленно отметил ошибку в силлогизме: он был хорошо тренирован Матвеем Никаноровичем в анализе высказываний по методу формальной логики.

– Чего хочешь, Мансур? – миролюбиво поинтересовался Агафонкин. – Опять галлюцинации создаешь? Успел принять с утра и гипнозом пугаешь? Весь сопьешься так.

– Не оскорбляй меня, урус, – сказал Мансур. – Это не галлюцинация. Это – мечта.

Агафонкин осмотрелся: базар со странной смесью восточных и русских товаров, каменные зубчатые стены с башнями, Москва с зиккуратами вместо куполов. Он заметил, что предметы не откидывали теней, и взглянул на небо. Там, строго вертикально над их головами, словно подвешенные на леске, горели два солнца – красное и черное.

– Где мы, Мансур? – спросил Агафонкин.

– В Евразии, – произнес Мансур с гордостью. – В моей мечте.

Агафонкин кивнул, удивляясь: Мансур никогда не говорил о евразийском пути России как своей мечте. Стоило послушать.

– Но это же Москва? – решил уточнить Агафонкин. – Чувствую, что Москва, но отчего все в песке?

– Ты слеп, урус. – Мансур покачал головой. – Посмотри вокруг.

Пустыни больше не было. Земля покрылась мелкой буро-желтой колючей травой, и у горизонта, где раньше покатым миражом переливались барханы, тянулась полоса зеленых лесов. Агафонкин повернулся в сторону, откуда он пришел по песчаной дороге: вместо утоптанного тракта к городским стенам легла, блестя под лучами двух солнц, неширокая река с глинистыми берегами, поросшими ивняком и другим тонким кустарником. Было слышно, как заливисто, искренне радуются лягушки.

– Евразия, – продолжал Мансур, – это ощущение континента. Европа – это ощущение моря, а мы, наследники тюрок и монголов, мы – континентальный суперэтнос, сформированный евразийским ландшафтом – степью, лесом, рекой. Это и определяет наш, евразийский способ бытия как единого суперэтноса.

– Ага, – согласился Агафонкин. – Лев Николаевич Гумилев, “От Руси к России”, часть первая.

Жажда вернулась и начала звенеть в голове – то ли от перспективы евразийского суперэтноса, то ли от жара двух солнц высоко в ярко-синем небе.

Он взглянул Мансуру в глаза; темные угли – два мохнатых шмеля. Шмели загудели, зашипели и сузились до черных точек-бусинок, нашитых на желтую кожу. Агафонкин чувствовал, что бусинки-глаза вбирают его в себя, и – безо всякого перехода – осознал, что смотрит в бусинки-глаза матерчатой набитой песком ящерицы, сидящей на подушке в комнате Мансура. Он не мог повернуть голову, чтобы оглядеться вокруг – пропал ли евразийский

город Москва, пропала ли лесостепная мечта Мансура: зрение снова сделалось туннельным, словно Агафонкин смотрел в подзорную трубу. Ящерица улыбнулась Агафонкину зашитым узким ртом и ударила по подушке хвостом. Агафонкин моргнул и проснулся.

Он не сразу понял, где находился. Агафонкин приоткрыл глаза и по привычным контурам предметов, скрытых полутьмой, узнал – он был у себя в комнате, в Квартире. Агафонкин потянулся и проснулся окончательно.

“Странный сон”, – вспомнил свое путешествие в мансуровскую мечту Агафонкин.

Он сел на кровати и понял, что спал одетым. На нем был легкий светлый костюм, выданный Митьком по случаю Тропы в *Киев-7июля1934-го*. И тут Агафонкина ошарашило: как он вернулся? Последнее, что он помнил, было Событие *МоскваСтромынка9-11ноября1956года*. Катя Никольская. Ах, Катерина Аркадиевна, кто б подумал. *Очень.*

Агафонкин улыбнулся воспоминаниям и встал. И тут же, по легкости в левом кармане, по тому, как ловко, влитую облегал его пиджак, понял: юла пропала.

“Потерял, потерял”, – думал Агафонкин, ползая под кроватью, шаря в слежавшейся пыли под тумбочкой, проверяя под комодом.

в 56-м оставил растяпа нужно быстрее обратно отыскать юлу говорил же митек тысячу раз предупреждал после выемки сразу домой доигрался

Было ясно, что делать: ехать на работу, в ДВС, прикоснуться к полоумной старушке Катерине Аркадиевне – *и ведь не помнит его не узнает* – перенестись в ее квартиру номер 53 дома 9 по улице Стромынка, оказавшись там 11 ноября 1956 года в 13 часов 14 минут, забрать юлу – и обратно. Делов-то.

“Нужно посмотреть на календарь”, – решил Агафонкин. Он должен был знать число, чтобы правильно выбрать Тропу обратно.

Число оказалось 28-м декабря 2013 года. Агафонкин взял ключи от Квартиры, лежавшие на столе, и пошел в переднюю. Он надел теплую кожаную куртку – не замерзнуть в продуваемом насквозь летнем костюме, пока доберется до Шоссе Энтузиастов, оглянулся на пустую тишь темного коридора и закрыл за собой дверь.

Двор встретил Агафонкина желтыми прямоугольниками окон – люди вставали жить в новом дне. В отличие от Агафонкина они жили только в этом одном дне, оторванные своим *сейчас* и от прошедшего, и от грядущего. Люди не знали, что никогда не умрут, и что Событие их смерти уже совершилось и продолжает совершаться где-то на пунктире их Линии Событий. Они не знали, что событие смерти не отменяет этого утра с его предрассветной суетой, яичницей-глазуньей и бутербродом с колбасой. Там умерли, а здесь продолжают заваривать чай и искать чистые носки. И так навсегда. “Бедные, – пожалел их Агафонкин, – они и не знают, что бессмертны, и продолжают жить в каждом из Событий всегда”.

Впрочем, он быстро о них забыл.

На стене у арки, ведущей из чистого от снега двора на пока пустынную улицу, Агафонкина встретила надпись черной краской. Кто-то вывел неровные крупные буквы:

УЗУН ТУРАН ЯШАМАК!

“Что это? – удивился Агафонкин. – Зачем? Гастарбайтеры балуются”, – подумал он, вспомнив, что в подвале жили работавшие на соседней стройке туркмены.

Он прошел арку, дошел до Зубовской площади и остановился, замерев в изумлении: вместо серого громоздкого – *солидного* – здания Счетной палаты площадь занимала огромная – метров двадцать ввысь – статуя волчицы из серого серебристого металла. Что это волчица, а не волк, было ясно по длинным соскам, к которым припал металлический пожилой круглолицый человек с чубом поперек лба. У подножия монумента стояли корзины мороженных от холода цветов с лентами, на которых золотом выделялись знакомые буквы

кириллицы, что никак не складывались в понятные Агафонкину слова. Рядом мерз, переминался почетный караул в странных башлыках вместо шапок. Караул был вооружен длинными пиками, с которых свисали шкурки малых меховых животных.

Агафонкин оглянулся вокруг, чтобы найти поддержку в знакомой реальности повседневного мира – здания, магазины, московские люди. Улица была пуста, лишь шагах в двадцати мужик со светлым вихром чистил скребком тротуар, уминая счищенный снег к полоске бордюра – чтоб не заваливать проезжую часть.

Мужику было жарко, он сдвинул потертую шапку, расстегнул ватник и напевал знакомую Агафонкину песню с чужими словами:

Мухта́шем дени́з – Привольный Байкал,
Гужэ́л джеми́ – омулевая ва́рил.
Эй, баргузин, то́пу шафт ужери́нде олсу́н
Недалечко шик сайл…

Агафонкин прислушался, боясь поверить тому, что слышал.

Он подошел чуть ближе и кашлянул.

– Земляк, – позвал Агафонкин, – есть минута?

Мужик, полусогнутый от напряжения, толкавший нараставшую на скребке горку снега к укатанной проезжей дороге – улице Бурденко, что вела к Садовому кольцу, замер, странно дернулся, словно его ударили, и оглянулся на Агафонкина. Агафонкин улыбнулся.

– Слышь, друг, – начал Агафонкин, – я хотел спросить…

– Гит бурда́н, шайтан, узя́к сус гит, – забормотал мужик. – Он смотрел на Агафонкина со страхом, смешанным с подозрением.

Мимо, звонко цокая копытами по подмороженной мостовой, медленно проехали два всадника в таких же странных башлыках, как и у караула, охранявшего статую волчицы. Мужик быстро сдернул шапку и поклонился, опустив глаза. Агафонкин проводил их взглядом: всадники выехали на Садовое кольцо и двинулись наперерез потоку машин в сторону Ордынки. Машины остановились, пропуская этот неторопливый дуэт. Мужик натянул шапку и посмотрел на Агафонкина с удивлением: страха во взгляде больше не было, его заменило любопытство.

– Казаки? – спросил Агафонкин, кивая на удаляющихся в облачке пара, окружающем лошадей, всадников.

– Башибузуки, – ответил мужик. Он оглянулся и оперся на скребок: – Сан кимси́н?

– Что? – удивился Агафонкин. – Я не понимаю. Я только по-русски говорю.

Мужик охнул и присел от удивления. Он опасливо оглянулся еще раз и, нагнувшись к Агафонкину, спросил с сильным среднеазиатским акцентом:

– Ты кто? Из дальних лесов?

– Из дальних лесов? – переспросил Агафонкин. – Да нет, я здесь за углом живу, на 3-м Неопалимовском. А ты откуда? Ты – русский?

Мужик закрыл рот ладонью, покачал головой, словно Агафонкин сказал что-то неприличное, и, понизив голос, сказал:

– Урус я, урус. Ты почему по-славски говоришь? Здесь же Священная Ставка Хана. Ты что, не знаешь: кроме дальних лесов по-славски нельзя говорить?

– Не знаю, – сознался Агафонкин. – Я думал – можно. Я здесь всегда говорю по-русски.

– Странный ты, – решил мужик. – Может, ты из тайной секир-нукерии? Так я плохого не делал, ходжа. Бен бир шай Япмадим.

– Это ты на каком? – поинтересовался Агафонкин.

– По-половецки, по какому же, – ответил мужик. Он задумался. – Нет, на секир-нукера ты не похож. Откуда, говоришь, приехал?

– Да не приехал я, – объяснил Агафонкин. – Я прямо здесь живу. – Он махнул рукой в сторону своей улицы: – На 3-м Неопалимовском.

Мужик покачал головой:

– Эта улица зовется Учунжу́ Сока́к Янги́н. – Он взглянул на остолбеневшего Агафонкина и, чуть помедлив, перевел: – Улица Третьего Пожара. Я знаю, еще дед мой здесь подметал. Мы – потомственные.

Агафонкин оглянулся, как любил оглядываться Платон Тер-Меликян в поисках ответов на заданные ему вопросы. Мир молчал, словно вопросы Агафонкина его не касались. Может, так оно и было.

Неожиданно мужик снова стащил с головы шапку, обнажив светло-вихрастую голову, на которой мелкой пудрой сразу начал оседать вновь пошедший несильный снег. Мужик уставился в землю, показывая смирение и готовность услужить.

Агафонкин оглянулся.

Мимо ехала небольшая арба, запряженная осликом. На спине ослика тяжелыми кожаными грушами с двух сторон свисали бурдюки с водой. Возница в светлом бурнусе натянул поводья, поравнявшись с Агафонкиным. “Не может быть, – отказывался верить Агафонкин. – Я же проснулся”.

– В дорогу собрался? – спросил Мансур. – Садись, урус, подвезу.

Мансур подстегнул ослика, и они под его ходкое цоканье двинулись по улице Бурденко к Садовому кольцу. Агафонкин оглянулся на Зубовскую площадь.

– Мансур, а статуя эта, с волчицей – Ромул и Рем, что ли? – спросил Агафонкин. – И где тогда Рем? И почему здесь? Она же в Риме должна стоять.

– Какие на хуй Ромул и Рем? – расстроился Мансур. – Зачем нам Ромул и Рем?! Это Лев Николаевич Гумилев сосет Священную Серую Волчицу Бозкурт, символ и защитницу Турана. Означает преемственность и доминирование тюркского элемента в Орде.

– В Орде? – Агафонкин совсем растерялся. – Где мы, Мансур? Снова в твоей евразийской мечте?

Мансур повернулся к Агафонкину:

– Ты, Алеша, отверг мою мечту и думал, я тебя отпущу? Думал, проснешься и все – Мансур с его глупыми галлюцинациями остался в старом сне? Нет, не хотел поверить в евразийскую мечту, теперь поживешь в пантуранской реальности.

Снег меж тем продолжал парить в воздухе, оседая на лицах и волосах, кружа перед глазами, туманя, заволакивая мир, отчего мир казался миражом еще бо́льшим, чем нынешняя интервенция Мансура. Агафонкин думал, как Мансур собирается держать его в своей галлюцинации: ведь кончится водка, кончится и его способность к гипнозу.

– Думаешь, я протрезвею, и гипноз пройдет? – Мансур подстегнул ослика, несильно шлепнув вожжами по серым бокам. – Нет, Алеша, останешься жить в нашей прекрасной Орде. Навсегда.

Он засмеялся и толкнул Агафонкина локтем в бок. Агафонкин тоже развеселился.

– Ну и останусь, что ж такого, – согласился Агафонкин. – Чем здесь хуже, чем было в России? Выучу половецкий, приживусь. А что за Орда, Мансур? Золотая Орда?

Они проехали поворот к Фрунзенской и въехали на мост. Посреди моста стояла еще одна статуя Священной Серой Волчицы Бозкурт, поменьше.

– Зачем Золотая? – Мансур стряхнул снег с бровей. – Золотая была и прошла, мы о ней еще поговорим. Наша называется Нефтяная Орда, – со значением сказал Мансур. – Получай, урус, пантуранскую Нефтяную Орду.

– Да я не против, – заверил Агафонкин. – Я готов. Евразийцы все, как один. Хотя от Европы, Мансур, тоже отказываться не нужно. Там есть что позаимствовать.

– Знаешь, что такое газават? – спросил Мансур. – Это священная война. Так вот, мы, туранцы, всем этим европейским влияниям объявили нефтегазават. Еще при прежнем хане, Лукойле 6-м.

– Лукойле 6-м? – растерянно спросил Агафонкин. Эта интервенция выходила за рамки обычных безобидных мансуровских галлюцинаций.

– Лукойле 6-м, – подтвердил Мансур. – А теперь правит его сын, Сургут-хан 3-й. Истинный туранец.

Они выехали из туннеля под Ленинским проспектом на окончательно посветлевший воздух утреннего города и поехали близко к тротуару. Агафонкин заметил, что на круглых уличных часах, прикрепленных на столбе вдоль проезжей части, нет стрелок: просто пустой циферблат с цифрами. Это были уже третьи часы без стрелок. Агафонкин решил придержать все вопросы на потом.

Неожиданно Мансур притормозил арбу, натянув поводья. Агафонкин чуть качнулся вперед по инерции и схватился за Мансура, чтобы не упасть.

Тот брезгливо стряхнул его руку со своего рукава и спросил:

– Имеются у тебя вопросы по поводу новой жизни, урус? Спрашивай о своей судьбе, что с тобой будет.

– Перестань, Мансур, – засмеялся Агафонкин. – Ничего со мной не будет: ты протрезвеешь, интервенция закончится, мы проснемся дома, в Квартире, и ты придешь ко мне денег на похмелье просить. А я не дам.

Сказал и понял, что сам до конца в этом не уверен. Что-то в нынешнем пантуранском бреде было другим – более тяжелым, более плотным, более реальным. Словно он попал в тягучий кисель вместо прозрачного, легкого компота. Что-то во всем этом было немансуровское.

– Я, пожалуй, пойду, – осторожно сказал Агафонкин. – Обживаться мне нужно в пантуранской Орде. Устроюсь на курсы половецкого. Соскучишься, приходи. Поговорим. Мы же все-таки соседи.

Он соскочил с арбы на тротуар и пошел в сторону Павелецкого вокзала. Агафонкин услышал конский топот и оглянулся: по Садовому – линейкой по двое в ряд – скакали шестеро башибузуков на вороных конях. “Хорошо в седле держатся”, – автоматически подумал Агафонкин: он все-таки как-никак служил ротмистром расквартированного в Варшаве Гродненского Гусарского Лейб-гвардии полка.

Неожиданно Агафонкин понял, что идет в потоке людей – в скученной массе одетых по-зимнему тел. Поток не спешил, не толкался, а целенаправленно тек к площади. Агафонкин чувствовал, как чувствуют течение реки, что люди не просто спешат в метро или торопятся не опоздать на работу – дошел каждый до своего места и нырнул в отдельность собственной жизни, перестав быть частью потока; нет, люди шли вместе, *в место*, как идут на демонстрацию или на казнь. Агафонкин пошел с ними.

Поток, несущий Агафонкина, повернул на Павелецкую площадь и принялся – единая человеческая масса – пополнять собою затопленное стоящими людьми пространство перед зданием вокзала. Агафонкин поднял глаза от плывущих перед ним спин и замер, чуть не вскрикнув от удивления: в центре площади – стремящимся ввысь разноцветным веретеном – кружилась огромная, выше окружающих площадь офисных зданий, юла Полустасова.

“Как я ее унесу, такую большую? – подумал Агафонкин и рассердился собственной глупости. – Это же галлюцинация, мираж. Нет здесь никакой юлы, обычная мансуровская интервенция. И все”.

Он, однако, не мог понять, как Мансур знает про юлу: Агафонкин никогда не обсуждал свои Назначения ни с кем, кроме Митька. Надумать юлу Мансур не мог: он, стало быть, знал, что Агафонкин ее потерял и ищет. Но как? Как?

Глубоко внутри, утопленная в липком страхе интуитивного знания, стиснутая отказом Агафонкина признать очевидное, упрямо толкалась уверенность – острая, как боль от пореза: это его юла. Потерянный им Объект Выемки. За который, как много раз обещал Митек, с него, Агафонкина, спросят.

Народ вокруг шумел ровным гулом толпы, ожидающей зрелищ. Люди смотрели на вертящееся в центре площади веретено и оглядывались вокруг. Агафонкин тоже оглянулся и только теперь увидел, что по периметру площади установлены высокие столбы с пустыми циферблатами часов без стрелок. Люди смотрели на циферблаты.

Агафонкину показалось, что юла растет. И, правда, чем больше крутилась она вокруг своей оси, тем больше вытягивалась юла ввысь, блестя разноцветными сторонами своих раскрашенных зеленым, красным и желтым боков. Никто, кроме Агафонкина, казалось, не замечал, что юла вытягивает себя своим кручением.

Неожиданно – без замедления, без предупреждения – юла остановилась, замерла посреди площади. Юла не балансировала на острие конуса, а застыла, не двигаясь. Агафонкин инстинктивно попятился, ожидая, что она, не движимая моментом верчения, упадет на толпу. Юла, однако, стояла абсолютно прямо, словно невидимая проволока соединяла ее с чем-то, с кем-то высоко в зимнем пантуранском небе Священной Ставки Хана.

Народ замолчал, подобрался. Тишина заволокла площадь, как туча. И тут пустые циферблаты часов, висящие на столбах, открылись, отошли на пружине, и из каждого образовавшегося пустого овала выехала фигурка Священной Серой Волчицы Бозкурт. Фигурки Волчицы замерли, чуть покачиваясь на держащих их пружинах, словно хотели рассмотреть людей внизу.

Толпа вздохнула, набрав морозный воздух, и выплеснула глухим единым рокотом знакомые русские слова:

– Какое время на дворе?

Часы молчали. Агафонкин посмотрел на замершую в центре площади юлу, и ему показалось, что она чуть вздрогнула.

– Какое время? – повторила толпа.

Фигурки Священной Серой Волчицы Бозкурт качнулись и, открыв пасти, хрипло пролаяли:

– Время московское, пространство минковское!

Агафонкин не сразу понял, что проснулся у себя в комнате.

Но сразу понял, что проснулся без юлы.

Глава первая МоскваШоссеЭнтузиастов88-28декабря2013года8:56

ТЕТРАДЬ ОЛОНИЦЫНА

Я никогда не видел моря. И там, где я родился и где рос, не было большой воды. Река – спокойная, ровная, долгая – текла мимо, не задевая нашей жизни, как не задевает жизнь людей, живущих вдали от станции, железная дорога: мелькнет поезд, пронесется дрожащей, словно мираж, лентой вагонов, простучит чечеткой колес по шпалам, и ничего после себя не оставит, кроме гудящих, остывающих, убегающих и не могущих убежать рельс. Так и наша река: все пыталась утечь от своих берегов, а не могла.

Впрочем, река появилась позже: там, где я родился, реки не было. Вокруг лежала степь, и далеко у горизонта качались, плыли куда-то синие холмы, поросшие незнакомым мелким лесом. Между нашей частью – Узел наведения авиации, УНА Чойр-2 – и далекими холмами монголы в треугольных шапках пасли овец. Военный аэродром, притаившийся у станции "18-й разъезд", был для служивших оазисом привычной советской жизни: пятиэтажки, клумбы, детская площадка. Словно вокруг не звонкая от пустоты монгольская степь, а нормальное советское провинциальное детство, которого я так и не узнал.

Для меня нормальным детством было мое: самолеты МиГ-23, позывные "Урал" и Гоби-Сумбер – степь-пустыня, пространство-время, где ни отдельного пространства, ни отдельного времени, а лишь туго натянутая степь, покрытая зимой снегом, а весной – цветами и пахучей высокой травой. Летом трава сгорала, и нас, детей, учившихся в 13-й школе на территории части (почему 13-й?) отправляли "домой", в Союз – к бабушкам и дедушкам, в другую жизнь, где не звучали позывные "Урал", где речь не топорщилась знакомыми, родными сокращениями – УНА, ЗКП, РТО и где у людей были настоящие адреса с названиями городов и улиц, а не короткое "в/ч 22786".

Я и Лена Голубева оставались в Чойр-2: нам было некуда ехать. Где теперь Лена? Где теперь 246-я истребительная авиационная дивизия 23-й Воздушной армии ВВС СССР? И где теперь СССР? Если верить Агафонкину, все это не окончилось, навсегда растворившись в зыбком воздухе монгольской степи, а продолжается, живет: звучат позывные "Урал", застыл на постаменте самолет МиГ-21, ползут по потрескавшейся земле огромные тягачи на гусеничном ходу, и над всем этим – центр жизни Узла наведения авиации – большой локатор на насыпанном над бункером пригорке. Все это там. Навсегда. Вместе с СССР.

В то утро Агафонкин прибежал раньше обычного (смена начиналась в 8 утра) и отправился на поиски одной из старух. Тогда я не знал ее имени. Агафонкин не стал переодеваться в санитарной дежурке; он был взволнован и очень спешил.

Он поглядел на меня, как-то странно прищурился и спросил:

– Что, Иннокентий, скучаете по Монголии?

Я опешил: мы никогда не говорили о моем детстве на 18-м разъезде в тридцати километрах от городка Чойр Гоби-Сумберского аймака. Я не успел ответить, поскольку Агафонкин кивнул и ушел от наступившей неясности по стеклянной галерее, соединяющей шесть корпусов ДВС. Он спешил и – против своего обыкновения – не останавливался поздороваться с гуляющими по галерее старухами.

Комната Катерины Аркадиевны была пуста, как яичная скорлупа с высосанным сырым яйцом. В воздухе висел тонкий сладковатый запах духов, но он не мог заполнить

пустоту. Агафонкин огляделся – вдруг где-то здесь прячется его юла, вздохнул и вышел в коридор. Ему было необходимо попасть в Событие МоскваСтромынка9-11ноября1956года13:14, и Тропа туда лежала через Катерину Аркадиевну. Агафонкин надеялся найти ее в столовой. И точно: там – в дальнем углу, отдельно от всех – нянечка Валя Тихонова кормила ее жидкой манной кашей с изюмом.

Катерина Аркадиевна подолгу не открывала рта, и Валя дула на ложку, приговаривая:

– Да ведь остыло уже, наказание мое, мне еще лежачую кормить в третьем корпусе. Да что ж за мучение такое?! Ну, еще одну ложечку съедим, и можно идти телевизор смотреть.

Про телевизор, впрочем, Валя обещала впустую: Катерина Аркадиевна никогда не смотрела телевизор. Она бродила по своей комнате и пела арии из прошлой жизни.

Агафонкин вызвался заменить Валю, и та, благодарная, ушла, передав ему ложку с белым, сладко пахнущим комочком.

Агафонкин сел на Валино место и посмотрел Катерине Аркадиевне в глаза: надеялся увидеть в них память об их недолгой любви. Или хотя бы золотистый блеск, наполнявший ее глаза в ноябре 56-го.

Катерина Аркадиевна не отвела взгляда, она смотрела сквозь Агафонкина. В ее глазах не было блеска – лишь не высохшие со сна слезы старости.

Агафонкин вздохнул и придвинул ложку ближе к покрытым мелкой сеткой трещин губам.

– Поедим и поедем, Катерина Аркадиевна, – попробовал пошутить (скорее для себя самого) Агафонкин. – Поедими поедем с вами, дорогая моя, в прежнюю счастливую жизнь. За юлой. Отыщем юлу и вернемся к манной каше и прочим горестям старости.

– Не отыщем, – чуть слышно сказала Катерина Аркадиевна. – Что утеряно, то потеряно.

Агафонкин замер: за время пребывания в Доме ветеранов Катерина Аркадиевна никогда не вступала в беседу. Она жила отдельно от происходящего в сейчас, запертая Альцгеймером в своем мире, ключ от которого был глубоко упрятан в ее потерявших блеск глазах.

– Вы… меня помните? – спросил Агафонкин. – Вы помните… как мы встречались?

Он не знал, что еще можно спросить. Хотя предпочитал не задавать женщинам таких вопросов.

– Я помню чудное мгновенье, – мягко пропела Катерина Аркадиевна. Она помолчала, проверяя фразу на вкус, и затем взяла чуть выше: – Я помню чудное мгновенье…

Агафонкин вздохнул. Он положил ложку в тарелку, подвинул свой стул поближе к мурлыкающей старухе, прищурился и дотронулся до рукава мягкого платья из темного бархата…

…до рукава ее каракулевой шубки. Катя Никольская побежала вниз по лестнице, торопясь на репетицию. Она не заметила появившегося за ее спиной высокого молодого мужчину с копной каштановых кудрей. Агафонкин посмотрел ей вслед, отметив стройные ноги в лакированных полусапожках, и повернулся к только вышедшему на лестничную клетку старому инженеру Ковальчуку. Тот стоял вполоборота, не решаясь закрыть за собой дверь, будто боялся, что может не вернуться.

Все шло, как должно было идти.

Ковальчук подслеповато прищурился, вопросительно глядя на Агафонкина. Идеально, конечно, при смене Носителя, было проскользнуть в следующую фазу Тропы незаметно. Агафонкину это удавалось. Но не всегда.

Многие из нас подчас замечали промельк тени сбоку, нечто, что глаз схватил, зарегистрировал, но не смог определить, положить на соответствующую полку в сознании.

Словно что-то – не тень даже, а подобие тени, увиденный шорох – прошло мимо, скользнуло у левого плеча и скрылось. Словно ощущение от увиденного, а не само увиденное.

Что это?

А это Агафонкин. Сменяет Носителя, входит в ваше время, спешит вдоль Линии Событий по Назначению или собственной нужде. А может, просто для удовольствия решил провести время, скажем, в Удольном, послушать суждения сельчан о реформе или поспорить с соседским помещиком Антоновым о Польском восстании 1830-го – был ли в том виноват Великий Князь Константин Павлович или влияние июньской революции 1830 года во Франции.

А может, спешит Агафонкин в Удольное просто потому, что соскучился по Варе.

Но про Удольное потом, потом.

Сейчас-здесь, в 13 часов 14 минут 11 ноября 1956 года, на лестничной клетке четвертого этажа дома 9 по улице Стромынка, вышедший из 54-й квартиры старенький инженер Ковальчук всматривался в Агафонкина, пытаясь припомнить, виделись ли они раньше. А заодно понять, как по-летнему одетый гражданин появился перед его дверью.

– Вы, товарищ, ко мне или этажом выше? – осведомился Ковальчук.

– К вам, Петр Васильевич, – вздохнув, признался Агафонкин. Он протянул руку и чуть дотронулся до слабого, костистого плеча инженера. – Здоровеньки булы.

Глава первая КиевПаркПушкинаБрест-Литовскоешоссе-7июля1934года15:20

Чуден Днепр при тихой погоде. Имеются, однако, на Украине и другие, не менее чудные вещи: ведьмовские панночки, мельники-колдуны, упыри-вурдалаки, победа Януковича на выборах. Самой же чудной из этих вещей в настоящий момент для Агафонкина было то, что в нынешнее, второе его путешествие в Событие *КиевПаркПушкинаБрест-Литовскоешоссе-7июля1934года15:20* молодой инженер Ковальчук оказался не у пивного ларька среди жаждущих горькой ячменной пены, а в другом месте – перед выкрашенной светло-зеленой краской сценой, на которой играл духовой оркестр.

Тут надобно оговориться, что оркестр играл в странном сооружении, называемом ротонда – крытом дощатой крышей полукруге, большой раковине, укрывавшей музыкантов от дождя и прочей непогоды. Подобные ротонды в раннее советское время строились в общественных парках и других людных местах. Под их уходившими в полутьму овальными сводами крылась тайна, засыпанная занесенными туда листьями. Там же можно было найти и пустые пивные бутылки.

Люди, стоявшие у обрубленного конца сцены, чуть выходившей из-под навеса – демократическое пространство перехода от творцов к толпе, – смотрели на белоодетых музыкантов. Средь них стоял и инженер Ковальчук. Что ему оркестр? Что он оркестру? И как мог Ковальчук в одну и ту же минуту находиться в двух разных местах? Ведь в предыдущее путешествие Агафонкина в это же Событие Ковальчук материализовался у пивного ларька нежного светло-огуречного цвета. Инженер же в конце концов: должен физику знать и совесть иметь.

Агафонкин миновал подрезавшего кусты роз старого работника парка в украинской вышитой рубахе и узбекской тюбетейке и остановился, оглядываясь вокруг. Он понимал, что со временем происходит нечто странное, не происходившее ранее. Агафонкин высматривал Полустасова среди прогуливающихся у фонтана людей, и в этот раз праздная толпа казалась Агафонкину менее праздной. Словно люди пришли в парк не оттого, что у них выходной, а по делу. Даже брызги от фонтанных струй разлетались вокруг не так весело, как в прошлый раз.

Что брызги? Агафонкин вдруг понял, что оркестр играет не патриотический вальс “На сопках Маньчжурии” с его обещанием “справить кровавую тризну” по павшим на азиатской чужбине героям русской земли, а нечто легкое, веселое и хорошо знакомое по советской жизни:

Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен…

…замурлыкал Агафонкин, узнавая мелодию.

Память услужливо подсказала, что фильм “Веселые ребята” вышел на экраны в декабре 1934-го. А он, Агафонкин, находился в июле того же года, то бишь до выхода фильма. Как же музыканты в киевском Парке Пушкина могли играть неизвестную никому пока мелодию? Агафонкин – как часто делал это Платон – оглянулся вокруг в поисках ответа.

Как и Платон, он его не нашел. Зато увидел юлу.

Она крутилась, пестря зеленым, желтым и красным – летние цвета. Рядом с юлой сидела на корточках девочка лет пяти – в светло-кремовой панаме, из-под которой свисали

льняные косички. На девочке был матросский костюмчик: блузка в синюю полоску с прямоугольным отложным воротником-гюйсом и белая юбка. Она смотрела на юлу и водила по кругу головой, повторяя ее верчение. Агафонкин заметил, что юла крутится против часовой стрелки.

Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь…

…лезли в голову слова поэта Лебедева-Кумача, мешая осмыслить ситуацию.
откуда у нее юла? где взяла? и где полустасов?

И каждый вечер сразу станет…

все-таки как они знают эту песню? кино-то еще не вышло?

Агафонкин уже стоял рядом с девочкой, и они оба ожидали, когда юла замедлит свое вращение и упадет на полукруглый цветной бок. Юла, однако, продолжала крутиться.

Вокруг же меж тем происходило нечто странное: пространство перед сценой освободилось само собой, и его пустой прямоугольник заполнили юноши в белых майках и темно-синих сатиновых трусах до колен.

– Пирамида, пирамида, – зашелестела толпа, сразу погустев от совместного ожидания.

Люди сдвинулись ближе и каким-то необъяснимым образом из отдельных тел превратились в существо со множеством голов. Они задышали в унисон.

Четверо юных гимнастов встали в ряд и положили руки на плечи друг другу, образовав основу для пирамиды. Трое других, стоявшие за их спинами, синхронно запрыгнули на первых и также соединили руки – второй уровень. Пришла очередь двух последних. Толпа одобрительно посмеивалась и подбадривала гимнастов. Наверху оставалось место для одного человека.

Оркестр перестал играть, и в образовавшемся молчании, словно переводная картинка, проступило ожидание толпы: где верхний? Кто это будет? Девушка в белой юбке с портретом Сталина в поднятых над головой руках? Мальчик с красным флагом? Юноша со звездой?

Агафонкину тоже стало интересно. Он, продолжая боковым зрением удерживать девочку и непонятно как все еще вращающуюся юлу, повел головой, пытаясь разглядеть поверх толпы приближение верхнего.

Сердце, тебе не хочется покоя…

…не умолкал назойливый танговый перелив в голове Агафонкина,

Сердце, как хорошо на свете жить!

Толпа качнулась и прошелестела что-то неясное, шипяще-рокочущее. Музыканты на сцене расступились, и в глубине ротонды, как обещание иного пространства, открылся прямоугольник не видной до того двери. Оттуда вышел Полустасов и, рассекая поблескивающий округлой медью оркестр, направился к авансцене. Он остановился на самом ее краю. – Алексей Дмитриевич, – сказал Полустасов, – что же вы, голубчик, заставляете себя ждать? Извольте пожаловать сюда.

Он улыбнулся и поманил Агафонкина четырьмя пальцами правой руки, соединенными вместе и оттого напоминавшими ласту малого морского млекопитающего.

Сердце, как хорошо, что ты такое…

…оборвалась в Агафонкине мелодия танго Дунаевского. Он оглянулся, надеясь – и уже понимая, что надеяться глупо, – не другого ли какого Алексея Дмитриевича зовут к сцене. Люди вокруг поощрительно и добродушно кивали Агафонкину, словно пытались подбодрить.

“Мансур? Еще одна интервенция?” – только и мог подумать Агафонкин. Он, несмотря на свое всегдашнее легкомыслие, бывшее, по мнению Матвея Никаноровича, его основной чертой, испугался: “Что происходит? Кто управляет Полустасовым и всей ситуацией?”

Он и сам не понял, как оказался рядом со сценой в пространстве, заполненном пирамидой. Гимнасты сопели от напряжения – нижние, пытаясь удержать верхних, верхние – пытаясь удержаться. Агафонкин посмотрел на Полустасова: тот – бело-парусиновый – улыбался, широко обнажая розовые десны.

– Пожалуйте наверх, Алексей Дмитриевич. – Полустасов указал на пирамиду. – Займите свое законное место – венец вы наш. В эволюционном, так сказать, отношении.

Толпа загудела, одобряя слова Полустасова. Агафонкин посмотрел на пирамиду. Он хотел понять, что делать – дотронуться до кого-нибудь из близ стоящих и скрыться в другом пространстве-времени (*а уж оттуда как-нибудь*) или остаться и выяснить, что происходит.

– Да ничего особенного не происходит, Алексей Дмитриевич, – ответил, услышав его мысли, Полустасов. – Пирамидку-то надобно закончить. Ребята-физкультурники не могут весь день так стоять.

Он подмигнул Агафонкину:

– Для вас, для вас, родной наш, местечко приготовлено.

Солнце – желто-оранжевый надувной шар высоко в небе – приспустилось посмотреть, полезет ли Агафонкин на верх пирамиды, и коснулось Агафонкина жарким, чуть влажным лучом.

– Аркадий Михайлович, – тихо, только для Полустасова, произнес Агафонкин, – мне нужно у вас забрать Объект Выемки.

Он произнес оба слова с большой буквы, как полагалось. Сказал и понял, что забыл про идентификацию Отправителя. “И ладно, – решил Агафонкин. – Не до формальностей”.

– Объект выемки? – громко переспросил Полустасов, обращаясь больше к толпе. – Сейчас поищем.

Он принялся комично шарить по карманам широкого пиджака, бормоча *здесь нет и здесь тоже нет*

Толпа посмеивалась, Агафонкин же чувствовал себя крайне глупо.

– Где наша юла? – спросил зрителей Полустасов. – А, вспомнил: я ведь ее вам, голубчик, уже передал. Вы что же – потеряли? Задевали куда? Ой, беда с вами, Алексей Дмитриевич, что за молодежь?!

“Пора, – решил Агафонкин. – Бежать! Если это мансуровские игры, то ничего страшного. Только на интервенцию не похоже. Здесь что-то другое”.

– Не зарывайтесь, Полустасов, – сказал он вслух как можно более твердо. – Не забывайте, кому служите.

Этой фразой Агафонкин никогда раньше не пользовался; она, как советовал Митек, припасалась на крайний случай. Агафонкин, впрочем, и сам не знал, кому они служат.

– Никак нет, Алексей Дмитриевич, – весело загудел Полустасов. – Помним, как же. Служим, так сказать, верой и правдой. За что и отмечены.

Полустасов протянул Агафонкину сжатый кулак и медленно, разгибая палец за пальцем, его раскрыл. На большой, квадратной желтой ладони, испещренной линиями его недолгой жизни и ненужной любви, лежал малый сердолик. Сердолик матово поблескивал на

солнце, обласкавшем истыканную черными вкраплениями янтарную поверхность камня солнечным ветром – пучком протонов, стремящихся к Земле со скоростью тысяча километров в секунду. А может, и быстрее.

– Нам имеется что предъявить, – веско сказал Полустасов. – А с вас спросят. Где юла? Нет юлы. Полустасов сберег, передал в целости, так сказать, и сохранности, а вы, драгоценный наш, потеряли. Как так? Никакого оправдания.

– Так вот же юла. – Агафонкин указал в толпу, где, как он знал, сидела на корточках девочка в матросском костюмчике. – Там она.

– Где? Где? – закричал Полустасов и принялся шутовски вытягивать шею. – Ай, не видно! Нет, Алексей Дмитриевич, придется вам, дорогуша моя, на пирамиду лезть, авось, сверху и разглядите.

Агафонкин посмотрел на фиглярствующего Полустасова и прищурился. Он понял, что его тревожило все это время: Полустасов был матово-темным, и от него не отходили кадры ленты его Линии Событий. Его жизнь не была видна Агафонкину: она совершалась здесь и сейчас, без начала и продолжения. Полустасов существовал только в этот момент.

“Сдвоение, – решился, наконец, назвать происходящее Агафонкин. – Сдвоение. Только отчего?”

Он, впрочем, догадывался.

Из всех плохих вещей, поджидающих Курьера вдоль Линии Событий, Сдвоение было самой страшной. Агафонкин знал, теоретически то есть, что это может случиться, но никогда, никогда не предполагал легкомысленный Агафонкин, что это может случиться с ним.

Предупреждал Митек. Каждый раз перед Тропой говорил Агафонкину следить за Сдвоением.

– Главное, Алеша, – проверяя в пятый раз, оделся ли Агафонкин как подобает ротмистру Лейб-гвардии Гродненского Гусарского полка, напоминал Митек, – следи за Сдвоением. Если не видишь на человеке времени, уйди из События и домой – в Квартиру беги.

Агафонкин кивал, не представляя, как можно не видеть времени. Посмотрел, прищурил глаза, что-то внутри щелкнуло, и вот оно – время. Он не видел его только у самого Митька, да еще рябило оно у Матвея Никаноровича. Но и у них он чувствовал, что время было, густилось вокруг них, только рассмотреть это время Агафонкин не мог. А чтобы совсем не видеть – такого быть не могло.

– Митек, – просил объяснить Агафонкин, – что это – Сдвоение? Как оно происходит?

– Кто ж его знает, Алеша? – без особого, впрочем, интереса отвечал Митек. – Да только когда произойдет, бежать надо.

Про Сдвоение Агафонкину в конце концов объяснил Матвей Никанорович. После многодневных дискуссий с Платоном он сообщил Агафонкину следующее.

Сдвоение – это создание дубля определенного отрезка чьей-то Линии Событий. Это как бы вариант уже существующего кадра в ленте времени, отходящий от нее наслоением, темным отростком. Словно человек живет две разных версии одного и того же момента, только дубль остается без продолжения, никуда не ведет. Он существует сам по себе и тем опасен для Курьера: из него можно не выбраться и остаться там запертым навсегда. День сурка, словом.

Отчего подобный дубль времени мог создаться, о причинах Сдвоения в Квартире велись бесконечные дебаты между Матвеем Никаноровичем и Платоном. Агафонкин был уверен, что Сдвоение, если оно вообще существует, происходит в результате нарушения Правила Курьера – НЕ ВМЕШИВАТЬСЯ. Он и не вмешивался.

В одном – редкий случай – Матвей Никанорович и Платон сходились, подтверждая указание Митька: почувствуешь Сдвоение – беги. Беги.

“Бежать, – думал Агафонкин, глядя на улыбающегося со сцены Полустасова. – Бежать! А как же юла? Обязан найти и доставить”.

– Не полезете, значит, – расстроился Полустасов. – Осталась наша советская пирамида без завершения.

Он грустно махнул рукой, и – по его команде – верхние физкультурники легко соскочили с плеч нижних, и толпа, не ожидавшая движения в свою сторону, отпрянула от сцены, образовав узкий коридор-просвет, свободный от тел. В этом просвете Агафонкин и увидел мелькнувший матросский воротничок и качнувшиеся льняные косички. Он бросился в просвет.

Девочка шла от толпы к фонтану. Она держала юлу в левой руке, а в правой несла светло-кремовую панамку. Казалось, она искала кого-то среди стоящих вокруг фонтана. “Сейчас”, – решил Агафонкин. Он, впрочем, не представлял, как забрать юлу.

Существовала строго регламентированная процедура Доставки и Выемки – идентификация Отправителя-Получателя, словесный код, оплата службы малым сердоликом. Ничего этого Агафонкин в данном случае сделать не мог: он не знал, как зовут девочку, она не знала, что отвечать, и не было у Агафонкина при себе малого сердолика, а без оплаты как забрать Объект Выемки?

“Подумай, Алеша, – объяснял Митек в самом начале его службы Курьером, – если мы им ничего не дадим, что они потом предъявить смогут? Чем подтвердят свою службу?” На вопросы Агафонкина, когда *потом для чего и кому* нужно будет предъявить малый сердолик, Митек рассеянно кивал и говорил что-нибудь туманное вроде *ну опосля ну ясно для чего ну понятно кому*

Агафонкин и перестал спрашивать.

– Девочка, – сказал Агафонкин, – какая у тебя красивая юла.

Он злился на себя за глупость сказанного, но не знал, что еще можно было придумать.

Девочка оглянулась; она не испугалась Агафонкина. Он хорошо знал, когда люди пугались: ему часто случалось видеть страх на дне чужих глаз.

Он отметил шрам на левом виске – тонкий, белый, белее, чем загорелая кожа ее чистого, гладкого лица под волосами, туго стянутыми в льняные косы. Обыкновенная девочка в матросском костюмчике, пришедшая в Парк Пушкина со своими родителями в субботний полдень.

– Красивая у тебя юла, – повторил Агафонкин. – Я видел, как ты ее запускала. Долго вертится.

Он судорожно соображал, что может дать взамен.

Девочка посмотрела куда-то мимо Агафонкина. Потом на него. Девочка улыбнулась.

– Хотите повертеть? – спросила девочка.

Агафонкин кивнул.

нужно оплатить просто брать нельзя что она потом предъявит

Киевское солнце неожиданно перестало быть ласковым и из желтого стало пунцовым, наливаясь тревожным цветом, чернея по краям.

– Хочу, – признался Агафонкин.

Девочка протянула Агафонкину юлу.

“Так просто, – подумал Агафонкин. – Возьму и выберусь отсюда. Нужно будет Ковальчука найти”.

Он знал, что брать нельзя. Без оплаты – нельзя. Он просто хотел дотронуться до юлы: проверить – настоящая ли.

Агафонкин протянул руку и дотронулся до выпуклого бока юлы. Он понял, что делать этого было нельзя, раньше, чем сделал.

Как всегда в начале Тропы, его крутануло и втащило в узкий, темный, отсвечивающий серым туннель. “Я ведь не брал Тропу, – успел подумать Агафонкин. – Как же оно само? Куда меня?”

Он пролетел туннель быстрее, чем обычно, успев отметить, что не видит мелькающих по сторонам теней – *шорохи Событий*. Обычно вдоль туннеля-Тропы Агафонкин различал События – потенциальные остановки и Носителей, выбранных им для путешествия.

Этот туннель был пустым, как был пустым Полустасов. Это была Тропа без Событий, без Носителей, без Времени. Единственным обитателем этой Тропы был летящий неведомо куда Агафонкин.

“Куда я?” – подумал Агафонкин. И вынырнул на свет.

Он не успел понять, где он, как на него накинули душный плотный мешок.

Часть вторая
Театр теней

Сцена где-то,
в которой Агафонкину (и другим) угрожают

Агафонкин находился неизвестно где и когда. Он сидел с мешком на голове, привязанный к стулу, пытаясь понять, сколько людей в комнате. Люди говорили шепотом, и слова их оставались неразличимы, не позволяя составить точного мнения ни о месте, ни о времени, в котором пребывал Агафонкин.

Ему было досадно, что он так и не добыл юлу, да еще и попался. О последнем Агафонкин, понятно, не беспокоился, полагая, что сможет всегда убежать. Главное, было б до кого дотронуться.

Агафонкин чувствовал под тяжелой, душной мешковиной, что его изучают. Он чувствовал на себе чужие взгляды так же ощутимо, как прикосновения липких пальцев. “Не реагировать, – решил Агафонкин. – Пусть постараются заслужить мою реакцию”.

Неожиданно мешок туго натянули над головой, хотя Агафонкин не слышал ничьих шагов и не чувствовал, что кто-то стоит рядом. Мешок разорвали – именно разорвали, а не разрезали – надвое, и он опал на плечи Агафонкина, словно заботливая шаль. Агафонкин собрался зажмуриться от света, но света не было: вокруг стояла серая мягкая полутьма, будто разлили тень.

Кто обладал такой силой – разорвать толстую мешковину?

Шепот – странный, тревожный гул голосов – наполнял воздух, словно слова – обрывки слов – висели в пустоте, сами – часть пустоты. Словно и не слова, а шорох, будто говорили шорохами вместо слов. Словно жужжанье мух в летней комнате. Только без мух.

Агафонкин огляделся.

Никого.

Он сидел, привязанный к стулу, посреди пустого тесного помещения со стенами из необшитых досками мелких, распиленных вдоль бревен. Бревна положили плохо – с непромазанными смолой щелями, и кое-где между бревен торчала пакля. Если б мужики в Удольном ему так клали амбары, ох, что бы Агафонкин им устроил. Подумать страшно.

Но до Удольного, впрочем, было далеко.

Помещение начало светлеть, пропитываясь более легким оттенком серого. Агафонкин попытался определить источник света и не смог, как не мог понять источник непонятных, скользящих сквозь серую пустоту слов-шорохов. Он находился неизвестно где, непонятно когда, и вокруг стояло серое свечение ниоткуда, пропитанное словами-шорохами ни о чем.

Агафонкин заметил, что светлее стало только вокруг стула, на котором он сидел, а по углам еще густились тени. Агафонкину показалось, что в углу слева тень чуть качнулась, отдельно от воздуха, словно через угол кто-то прошел. Он присмотрелся.

Тень в левом углу начала сгущаться, отделяясь от серой, медленно светлеющей пустоты. Тень приобрела очертания, оформившись в словно очерченный пунктиром контур сидящего на земляном полу человека, опустившего голову на колени. Линии пунктира соединились, человек приобрел целостность, законченность и, подняв голову, распрямился. Он взглянул на Агафонкина без особого интереса и пружинисто поднялся. Потянулся, разминая затекшие мышцы.

Тень оказалась высоким мужчиной непонятного возраста в длинном сером пальто из мягкой шерсти в мелкую клетку. На голове у мужчины ловко сидела элегантная серая кепка, также в клетку. Шею прикрывал серый шарф с зеленоватым оттенком. Несмотря на все еще плохое освещение, Агафонкин видел детали одежды Серого отчетливо – каждую отдельно и все вместе. Лица под козырьком кепки, однако, он не мог различить.

Серый смотрел мимо Агафонкина. Агафонкин оглянулся – что там такого интересного? – и не увидел в дальнем углу справа ничего примечательного: паутина и мелкий случайный мусор, как и везде на земляном полу. Он собрался было повернуться к Серому, когда краем глаза – нет, не увидел, а скорее почувствовал, как рваная старая паутина в углу шевельнулась, словно ее дернули наверх. Агафонкин моргнул – показалось. И сразу понял – не показалось.

Ниточки паутины расплелись и на секунду, не больше, замерли в сером воздухе, торча в стороны бессмысленными концами-обрывками. Затем, подвластные невидимым спицам, они принялись быстро связываться в неясные пока абрисы небольших фигур, в которых начали угадываться очертания опущенной руки, повернутого в сторону лица, загогульки уха. Словно кто-то рисовал в пустоте паутиной.

Очертания частей соединились в толстенького мужчину в темно-бордовом смокинге, надетом поверх торчащей из-под него косоворотки с цветастым воротом. На голове у толстенького по-ямщицки, набекрень сидела драная шапка-ушанка. “Смокинги не бывают бордовыми, – словно это сейчас было самое важное, подумал Агафонкин. – Смокинги должны быть черными”.

Человек в темно-бордовом нарушавшем законы приличия смокинге отряхнулся, словно вылезшая из воды собака, и приветливо кивнул Агафонкину. Он казался состоящим из неаккуратно соединенных линий, словно плохой детский рисунок. Его лицо под ушанкой было сложено из морщин, трещинок, складочек, которые продолжали двигаться, будто выискивая место получше. Нос то вытягивался, то становился короче, уголки рта задирались кверху и затем опускались вниз, а уши то оттопыривались и торчали в стороны перпендикулярно лицу, а то вдруг прижимались к черепу, удлинялись, заострялись, и на них вырастали мохнатые пушистые рыжие кисточки, как у рыси.

– Какие люди! – звонким, почти детским голосом, заорал Морщинистый. – Кто, кто это к нам пожаловал?

– Агафонкин это, – глубоким, интеллигентным баритоном отозвался из своего угла Серый. Он вышел из окружавшей его полутьмы и остановился шагах в пяти от Агафонкина, так на него и не взглянув.

– А-га-фон-кин, – по слогам, словно название вкусного блюда, чувственно произнес Морщинистый. – Кто бы мог подумать? Удостоил, так сказать, старика. Милости просим, милости просим.

Морщинистый широко развел руками, будто одновременно и приглашал Агафонкина оглядеться, и хотел его обнять. Серый пожал плечами. Агафонкин ждал.

– Алексей Дмитриевич, – радостно, не смущаясь его молчанием, продолжал Морщинистый. – Сколько лет, сколько зим?! Сколько, знаете ли, других времен года? Скажите, пожалуйста, значит, решили к нам заскочить?

– Мы его сами заманили, – баритонисто сообщил Серый. Он поглядел на Морщинистого и решил пояснить: – Поймали в ловушку.

Морщинистый всплеснул руками и посмотрел на Агафонкина с извиняющимся выражением чуть оранжевых глаз: видно было, что ему неудобно за прямоту и бестактность товарища. Он взмахнул левой рукой, и на кепке Серого выросла пара длинных прямых рогов.

Серый ощупал рога большой широкой ладонью и вопросительно взглянул на Морщинистого. Затем кивнул на Агафонкина:

– Забодать его, что ли?

Серый натянул кепку поглубже и немного расправил плечи, как боксер перед ударом.

– Что вы, что вы, голубчик?! – снова всплеснул пухленькими ручками Морщинистый. – Гостя дорогого?! Нет, это я так, знаете ли, намекнуть, что ведете себя, любезнейший, как тупой баран.

Серый снова ощупал голову.

– У баранов рога винтовые, – сказал Серый. – А эти – прямые. Если как баран, надобно рога поменять. – Он взглянул на сидящего перед ним Агафонкина и добавил: – Но лучше так оставить, а то бараньими неудобно бодать. Не проколешь.

Морщинистый страдальчески закатил глаза и моргнул. Рога пропали.

– Забудем, забудем про этот маленький инцидент, Алексей Дмитриевич, – обратился он к Агафонкину. – Не позволим, знаете ли, омрачить радость встречи. – Морщинистый чуть поднялся и завис в воздухе, словно хотел оглядеть Агафонкина сверху, затем опустился на пол: – Как добрались? Не притомились ли дорогой?

Серый снял кепку – удостовериться в исчезновении рогов. Он внимательно осмотрел ее, перевернул и ощупал подкладку. Вытащил из кармана пальто вязальный крючок и клубок серой шерсти, сел, не глядя, на появившийся за его спиной табурет и принялся вязать. Он мало интересовался беседой.

“На мансуровскую интервенцию не похоже”, – подумал Агафонкин.

Агафонкин бывал в плену много раз и умел вести себя соответственно. Бояться Агафонкин не боялся: что ему могут сделать? Он бессмертен.

Он решил, что пора вступить в беседу.

– Что нужно? – без приветствий и преамбул спросил Агафонкин. – Только быстро, а то у меня времени нет.

– Занятые очень, – не поднимая головы от вязания, пояснил Морщинистому Серый. – Хочут побыстрей отмучаться.

Морщинистый скривился, показывая, как ему неприятна грубость компаньона. Затем сложил ниточки губ в улыбку, предварительно переместив неожиданно выросший нос ближе ко лбу.

– Алексей Дмитриевич, – затрещал Морщинистый, – что же это я? Не представился даже. Уж простите старика, не пеняйте. Это от нечаянной радости, от нежданной, так сказать, встречи.

Он театрально развел удлинившимися чуть ли не на треть руками, снял рваную ушанку и поклонился:

– Гог и Магог. – Он взглянул на Агафонкина и решил пояснить. Морщинистый поднял правую руку и начертил в светло-сером воздухе избы-сарая огненные ивритские буквы: גּוֹג. – Гог, – указал он на себя. Морщинистый махнул в сторону Серого, над головою которого тут же повисла сыпящая искрами надпись: מָגוֹג. – И Магог. – Морщинистый-Гог надел ушанку и сдвинул ее набекрень: – Прошу, голубчик, любить и жаловать. Не обессудьте, не обессудьте, давно ждали.

– Гог и Магог – это северные народы, – наставительно сказал Агафонкин, следя за медленно тухнущими, похожими на кочергу буквами еврейского алфавита. – Которые, как написано в Библии, вторгнутся в Землю Израиля, чтобы грабить и опустошать.

При словах “грабить и опустошать” Серый-Магог оторвался от вязания и осмотрелся вокруг – не пора ли. Поняв, что это не команда, Магог вздохнул и принялся считать петли.

– И вы, и вы, дорогуша, – заверещал пухленький Гог, закатив глаза, так что они на секунду залезли под вытертый мех ушанки. – Ведь интеллигентный человек, образованный. А верите всякой чепухе. Ну, мало ли что про нас пишут?!

Он был искренне удручен доверчивостью Агафонкина. Вероятно, чтобы показать свое недовольство, Гог протянул толстенькую ручку в сторону Магога и послал столп огня. Огонь прошел сквозь того, проделав в нем большую неровную дыру, не принеся, впрочем, видимого вреда. Магог на секунду оторвался от вязания и провел ладонью по отверстиям дыры, которые тут же затянулись. Он поддел крючком спустившуюся петлю и начал новый ряд.

– Иезекииль этот понаговорил про нас чепухи, – продолжал жаловаться Гог. – А мы отвечай.

– Тоже мне пророк, – поддержал друга Магог, не поднимая головы от вязания. – Я както в Вавилонии близ Ниппура сходил его послушать: так у него и мертвые воскреснут, и Мессия пожалует, и Храм восстановят. Хуже, чем Глоба.

Гог кивал: так и есть. Оклеветали.

– Сами подумайте, Алексей Дмитриевич, чего только про нас не понаписали. – Он раскрыл ладонь, на которой оказалась размером со спичечный коробок черная книжица. Гог дунул на нее, и она принялась расти, превращаясь в объемистый том. Книга раскрылась сама, и по мелькнувшему характерному расположению текста в две колонки Агафонкин понял, что перед ним Библия. – Вот, – театрально зачитал, не глядя на раскрывшуюся перед ним страницу, Гог: – “Они будут все сметать со своего пути и не будут оставлять на своем пути ни воды, ни растительности. Они будут пожирать всех животных. Того, кто из них умрет, они сами будут пожирать”. – Он страдальчески взглянул на Агафонкина, ожидая сочувствия. – Мертвых мы, видите ли, станем пожирать.

– Станем, – не отрываясь от вязания, подтвердил Магог. – Пожирали.

– Так исключительно по необходимости, Алексей Дмитриевич, – горячо заверил Агафонкина Гог. – А так, если что другое из еды под рукой имеется – колбаса, скажем, или суп харчо, ну, зачем нам мертвые? Ни к чему.

Он приосанился и с достоинством сказал:

– Я, голуба моя, вообще последнее время склоняюсь к вегетарьянству. Печень, знаете ли, берегу.

– Правильно мы этого Иезекииля конями надвое порвали, – поделился Магог. – Я сам и привязывал.

– Вынужденная мера, Алексей Дмитриевич, вынужденная мера, – принялся убеждать Агафонкина Гог. – А что делать? Нужно было решительно остановить клевету. А то он кричал, что мы – два народа, нашествие которых потрясет мир незадолго до прихода Мессии. Людей только баламутил.

– Мы-то здесь, – заверил непонятно кого Магог. – Мы-то уже нашествуем. А где Мессия?

– Именно, дорогой друг Магог, именно, – подхватил Гог. – Где Мессия?

Он огляделся в поисках Мессии и, не найдя, удрученно вздохнул.

– Иосиф Флавий, – добавил похваленный Магог, – тот нас вообще в скифы записал.

– Да, скифы мы! Да, азиаты мы! – проникновенно продекламировал, прикрыв глаза, Гог. Он распахнул задравшиеся на лоб веки и поспешил заверить Агафонкина: – То есть мы, дорогуша, конечно, ни те и ни другие.

– Кто же вы такие? – спросил Агафонкин. Ему и вправду было интересно.

Толстенький Гог со значением посмотрел на Агафонкина. Агафонкин встретил его взгляд не мигая.

Гог надул губы до размеров небольшого футбольного мяча и сказал:

– Мы, Алексей Дмитриевич, являемся знамениями Судного дня. – Он чуть прикрыл глаза и добавил: – О чем совершенно правильно сказано в Святом Коране в суре аль-Кахф.

Гог поднял руку и начертил прерывистым огнем в ставшем почти белесом воздухе арабские буквы ماجوج.

– Яджудж, – прочел для Агафонкина мультилингвистический Гог, – это, стало быть, я. – Он чуть поклонился. – И, – он кивнул в сторону товарища, над головой которого появилось его арабское имя ماجوج, – Маджудж. Прошу любить и жаловать.

– Не обязательно, – отозвался с присущей ему прямотой Магог-Маджудж. – Все равно не поможет.

– Как знать, как знать, – потер покрывшиеся красноватым пушком ладони Гог-Яджудж. – Может, и договоримся. Вы, – добавил он, подозрительно взглянув на Агафонкина, – надеюсь, понимаете, что нам можно верить? Что мы не обманем?

– Обманем, – признался Магог. Он посмотрел на Агафонкина и, видимо, неуверенный, что тот понимает значение слова "обманем", решил пояснить: – Предадим. Не выполним обещаний.

Агафонкин раздумывал, как – если они не договорятся – его будут убивать. Эта пара явно не собиралась к нему прикасаться, иначе бы его не держали привязанным к стулу. А прикоснулись бы – убежал бы в чужое пространство-время, затерялся бы там, осмотрелся бы, пока не нашел Тропу назад.

Так в свое время (*какое время свое?*) он оказался в Удольном.

Агафонкин – по глупости, по ненужной лихости – вызвался в разведку при осаде Эрзерума. Октябрь 1878-го выдался по турецким меркам холодный – утром земля, крепко схваченная белесой паутиной изморози, стояла твердая от заморозков. Ползти по такой земле к укреплениям армии Мухтар-паши, да еще под обстрелом из новейших винтовок-снайдеров – удовольствие небольшое.

В ту ночь их вылазку вел его друг поручик Назаров. Назаров был нетипичный гвардеец: маленький, толстенький, весь какой-то круглый и до розоватости романтичный. Войной он интересовался мало и более всего на этой войне жалел о том, что не успел прочесть последнюю часть печатающегося в то время в "Русском вестнике" романа графа Толстого "Анна Каренина".

– Чем, думаешь, Алеша, закончится эта любовь? – мучил он Агафонкина расспросами между сверками полковых карт с указаниями о дислокации отряда. – Поймет ли Вронский, что любит она его, любит, возможно, греховно, но истинно?

Агафонкин отмалчивался и втайне переживал, представляя, как огорчится поручик, прочитав о гибели Анны. Назаров стал ему дорог, и Агафонкин уважал его за пренебрежение к стереотипам полковой службы: даже в конце Баязетской осады Назаров пил по утрам кофе в шелковом халате, поглядывая со свойственной ему рассеянностью на гвардейцев, справляющих нужду в дальнем, "срамном" конце редута, обрывавшегося в ров.

– Ах, Алеша, какие мы, люди, все-таки грубые существа, – сетовал Назаров. – Как, право, хочется жить идеальным, духовным, мистическим…

Солдаты любили его за справедливость и отсутствие ненужных придирок. Агафонкин же полюбил Назарова за невоенность, хотя тот провел в службе всю жизнь. Агафонкин вообще любил нетипичных людей, оттого что сам всегда и везде старался не выделяться, быть понезаметнее.

В ту ночь Агафонкин вызвался в разведку. Он и раньше ходил.

Вышли в полночь, с молитвой. Агафонкин, понятно, не молился (не знал кому, да и примут ли молитву от такого, как он), но шевелил губами, слушая шепчущих важные слова гвардейцев. Назаров распорядился выдать разведчикам полкового пунша, приготовленного по знаменитому барбадосскому плантаторскому рецепту (одна часть лимонного сока, две части сахара, три части рома, четыре части воды, с добавлением ангостуры и мускатного

ореха). Агафонкин слушал слова русской молитвы, отдающей карибским алкоголем. Горная ночь звенела темно-синей пустотой, в которой плавала узкая долька луны. Как долька апельсина в полковом пунше.

Вот оттуда-то, из турецкого ущелья Гурджи-Богаз октября 1878-го, Агафонкин и попал в поместье Удольное села Малая Алешня Шацкого уезда Тамбовской губернии 1861 года.

Странная история. Как-нибудь потом расскажу.

“Эти прикасаться не собираются, – думал Агафонкин, глядя на Гога и Магога и пытаясь сокращением мышц ослабить веревки. – Значит, убьют на расстоянии, что грустно: не удастся сбежать”.

Вслух он сказал:

– Вы, стало быть, знамения Судного дня. Который, раз вы оба здесь, приближается.

Гог восхищенно причмокнул и, подпрыгнув, завис в метре от пола. Он стал прозрачным, внутри него начал расти огненный шар. Теперь Гог походил на шаровую молнию.

– Тонко, тонко подмечено, милейший, достойнейший Алексей Дмитриевич, – залопотал Гог, медленно вращаясь в воздухе. – Сразу видно – имеем дело с человеком, способным, так сказать, выявить глубинные причинно-следственные связи. Раз мы, знамения, уже здесь, то Судный день приближается! Не за горой, так сказать. Какова глубина анализа, друг Магог, – обратился он к товарищу. – Глубина, я бы сказал, сравнимая разве что с виднейшими философами схоластической школы, для которых, как и для вас, Алексей Дмитриевич, было характерно доскональное изучение поставленного вопроса со скрупулезным рассмотрением всех возможных его вариантов. Кого, кого из философов могу с вами сравнить? Пьера Абеляра? Иоанна Солсберийского? Или, возможно, Гильома из Шампо? Но никто, заметьте, никто из этих философов…

– Философов мы тоже немало поубивали, – вставил, не поднимая голову от вязания, Магог.

Огненный шар внутри Гога пыхнул и погас, словно и не было. Прозрачность внутри стала заливаться матовым светом, и Гог, как опавший парашют, спустился на пол.

Он виновато развел руками:

– Приходилось, приходилось, что скрывать. Но ведь все от чего, дорогуша моя Алексей Дмитриевич? – спросил он Агафонкина. – Все от того, что эти достойные мыслители не хотели договариваться. – Он посмотрел на Агафонкина с надеждой: – Но вы-то, голуба, не таковы? Вы-то не заставите старика расстраиваться? С вами-то мы, я уверен, найдем компромисс?

– Я же спросил – что нужно? – как можно более лениво сказал Агафонкин. – Когда объясните, решим, можем договориться или нет. А пока – извольте развязать. Иначе разговора не получится.

Агафонкин надеялся, что они совершат ошибку и дадут ему к ним прикоснуться. Убивать сразу его явно не собирались, значит, нужен. Любопытно узнать, чего от него хотят, но жизнь дороже. Кроме того, Агафонкин был уверен, что это не последняя их встреча.

Больше всего его интересовало не то, чего от него попросят, – *понятно чего-то принести или наоборот что-то кому-то доставить* – а как он здесь очутился. Последнее, что случилось, достоверно случилось, это поворот юлы в июле 34-го. А потом туннель, пустой туннель, словно там не было времени. “Такого не бывает, – рассуждал Агафонкин. – Время всегда есть. Значит, это – другой туннель. Стало быть, у них имеется свой путь переброски и передвижения по пространству-времени. Тогда зачем им он? Не спеши, – остановил себя Агафонкин, – сами расскажут. Для того и доставили”.

Пустой туннель, однако, не выходил у него из головы. Отчего там не было теней? Агафонкин вспомнил, как его втянуло в туннель – без усилий, без погрузнения, без обычного накопления гравитационного давления. Агафонкин привык, что входил в туннель сам, а тут

его затащило. Как? “Вот что важно понять, – решил Агафонкин. – Тогда и разберемся, как отсюда выбраться”.

– Вас развяжи… – заговорщически кивнул ему Гог. – Дотронетесь до кого-нибудь, и ищи-свищи… Убежите куда-нибудь в петровское время. Как мы вас там отыщем?

– Отыщем, – заверил Магог. – Отыщем и накажем.

В его глубоком интеллигентном баритоне чувствовалась уверенность опыта.

– Так что пока, Алексей Дмитриевич, посидите несколько – как бы это назвать? – стесненно, – попросил Агафонкина Гог. – Потерпите, голубчик.

Он подошел к Агафонкину, оглядел его и щелкнул пальцами. Чуть провисшие веревки натянулись, врезавшись в тело.

– Дело-то у нас к вам, прямо скажем, пустяковое, – весело заверил его Гог. – Даже и тревожить такого занятого человека неудобно. Но вот приходится.

– Не сделаете – убьем, – поучаствовал в беседе Магог. – Садистически. – Он взглянул на Агафонкина и, не уверенный в способности того понимать сразу, добавил: – Как можно больней.

Агафонкин ждал.

– Вы, милейший, – продолжал улыбающийся меняющим очертания ртом Гог, – вы, друг наш, позаимствовали предметик, который, скажем, вам вовсе не принадлежит.

– Чужое взяли, – пояснил Магог. – Не свое.

– Так что надобно возвернуть, – заключил, вздохнув, Гог. – Вернуть законному хозяину в целости, так сказать, и сохранности.

– Что нужно вернуть? – спросил Агафонкин. Кому, он решил выяснить потом.

– Как что? – возмущенно воскликнул Гог. – Юлу, дорогой мой, юлу нужно возвратить.

Он пыхнул огнем из ушей, затем надулся и выплюнул на пол шесть ядовитого вида змей, покрытых оливковой чешуей. Агафонкин заметил поперечные полоски на их скользких боках. Змеи начали извиваться у ног Гога.

– Гадюки? – поинтересовался любознательный Магог.

– Бирманские, – подтвердил Гог. – Семейство *Azemiopinae*. Я, Алексей Дмитриевич, поначалу вам ошейниковых плюющихся кобр припас, чтобы, значит, на расстоянии решить дельце, но потом подумал – зачем? Раз хочется Алексею Дмитриевичу к кому-нибудь прикоснуться, надобно уважить. Пусть, думаю, прикоснется.

Он коротко свистнул, и змеи поползли к Агафонкину. Они остановились в нескольких сантиметрах от его ног и, подняв головы, замерли, качаясь, как перед играющим на флейте факиром. Магог отложил вязанье и с интересом наблюдал за гадюками. Агафонкину показалось, что он расслышал, как тот шепчет что-то вроде “Ату его, ату”.

– Так это ваша юла? – не отрывая взгляда от гадюк, спросил Агафонкин. – Я и не знал.

– Наша, не наша, а вернуть нужно нам. А уж мы, поверьте, отдадим законному владельцу. Нам чужого не надо, – заверил Гог Агафонкина.

– Надо, – не согласился Магог.

– Как вы меня поймали? – решил поинтересоваться Агафонкин. – Я попал в этот тунель, когда прикоснулся к юле. Если у вас имеется путь в то Событие, отчего вы сами не пойдете и не заберете юлу?

Гог сокрушенно покачал головой: ему было досадно, что Агафонкин такой непонятливый.

– Алексей Дмитриевич, милый мой человек, – расстроенно сказал Гог, – путь путем, а юла-то уже не там. Юла, голуба моя, в результате устроенного вами Сдвоения находится в другом месте. Откуда и надобно ее доставить.

Агафонкин понимал, что Гог прав: то, что Катя Никольская вела себя по-разному в Событии *Стромынка9-11ноября1956года13:14*, могло означать лишь одно – Сдвоение. На

Линии Событий Катерины Аркадиевны вырос, ответвился новый росток пространства-времени, в котором она не пошла на репетицию в театре, как случилось в прожитой ею однажды жизни, а осталась в своей квартире, ожидая Агафонкина. И, что было особенно тревожно, у этого нового отростка уже случилось свое прошлое – их роман, о чем Агафонкин не помнил. Оттого и юла осталась в том Событии.

Чем это грозило, Агафонкин не знал. Всю его жизнь ему твердили, что нет на Тропе большей беды, чем Сдвоение. Он принял это как данность: нельзя и все. Теперь предстояло выяснить детали.

– А девочка? – спросил Агафонкин. – В Событии, из которого я попал в ваш туннель, юла была у девочки.

Гог звонко хлопнул в ладони, и змеи, перестав шипеть, послушно обвили ноги Агафонкина и затихли. Он чувствовал мерный трепет их длинных холодных тел через штанины легких летних брюк. Это было немного щекотно. Агафонкин жалел, что не может видеть время животных.

Гог молчал, лишь черты его меняющегося лица забегали быстрее, меняя места, меняясь местами. Агафонкин заметил, что Магог перестал вязать и, повернувшись в его сторону, смотрел со странным интересом в черных, антрацитовых глазах. Агафонкину показалось, что тот его жалеет.

Когда рот оказался на левой щеке, Гог спросил:

– А вы, Алексей Дмитриевич, совершенно уверены, что юла была у девочки?

– А, скажем, не у мальчика? – предложил свой вариант событий Магог.

– Я девочку от мальчика отличить могу, – пожал плечами Агафонкин.

Гог посмотрел на товарища: казалось, они разговаривают без слов. “Так и есть, – понял Агафонкин, – беседуют”. Магог покачал головой, вздохнул. Затем взглянул на Гога и горизонтально повел рукой в воздухе, где, следуя его движению, появилась узкая щель. Магог обеими руками раздвинул щель до размеров небольшого окна.

В образовавшемся пространстве светило солнце. Через проделанное Магогом окно было видно по-летнему одетых людей перед большим белым фонтаном. Агафонкин узнал киевский Парк Пушкина. Магог потянул края окна в стороны, и – словно при настройке телескопа – изображение приблизилось к Агафонкину; теперь он мог видеть летнюю эстраду с оркестром, пирамиду из качающихся от напряжения гимнастов и толпу зрителей. Звука не было, словно Агафонкин смотрел телевизор с выключенной громкостью.

Магог чуть повел рукой, и угол изображения изменился. Неожиданно Агафонкин увидел себя среди людей перед сценой. Он с кем-то разговаривал, отвечал на обращенную к нему речь, но не мог видеть собеседника.

Все было, как было. Как случилось в Парке Пушкина перед тем, как Агафонкина втянуло в туннель. Что-то, однако, тревожило Агафонкина, что-то в окне Магога отличалось от того, как он это помнил.

– А где Отправитель? – спросил Агафонкин. – Полустасов? Он же был в этом Сдвоении.

– Какой Полустасов? – раздраженно махнул рукой Гог. – Вы что, не поняли: Полустасов – это так, удаленный терминал. Это я им управлял.

– Дистанционно, – добавил не верящий в способность Агафонкина понимать сразу Магог. – На расстоянии.

“Вот оно что, – сообразил Агафонкин. – Вот почему Полустасов в этом Сдвоении кривлялся точно как Гог”.

Он посмотрел на себя в окне в Событие и понял, что видит происходящее глазами Полустасова. “Вот как они за мной следили, – думал Агафонкин. – Как через удаленную камеру”.

– Поверните, пожалуйста, чтобы было видно девочку с юлой, – попросил Агафонкин. – Она должна находиться чуть влево за моей спиной. Недалеко от фонтана.

Магог поворотом руки снова изменил угол и, сделав полукруг над толпой, камера-Полустасов теперь была наведена на то место, где, как помнил Агафонкин, сидела на корточках девочка в матроске. Где она играла с трехцветной юлой.

Только теперь на этом месте не было ни девочки, ни юлы.

Молчание, тяжелое, словно талая вода, залило сарай (хотя неясно, был ли это сарай). Змеи проснулись от наступившего молчания и заструились по ногам Агафонкина. Он старался не дышать.

Гог взглянул на змей и цокнул языком. Змеи пропали, вспыхнув в ставшем прозрачным воздухе ярко-синим.

– Не беспокойтесь, Алексей Дмитриевич, – заверил Гог Агафонкина, – когда понадобятся пресмыкающиеся, за нами не задержится.

– Не заржавеет, – поддержал друга Магог. – Обеспечим поядовитей.

– Я девочку хорошо помню, – сказал Агафонкин. – Она играла с юлой у фонтана. Когда Полустасов предложил мне забраться на пирамиду, я увидел, что девочка уходит, и ее догнал. И она позволила мне закрутить юлу.

– И как? – сочувственно спросил Гог. – Закрутилась?

– Не знаю, – честно ответил Агафонкин. – А вот я закрутился и оказался в вашем тунеле. А потом здесь.

Гог запыхтел и сел на воздух, словно ему подставили невидимый стул.

– Ситуация нехорошая, Алексей Дмитриевич, – заверил Гог Агафонкина. – Не-хо-ро-ша-я.

– Плохая, – пояснил Магог.

– Вспомните, пожалуйста, куда делась девочка, – продолжал Гог.

Агафонкин помотал головой: *не знаю*.

– Посмотрите внимательно. – Гог указал на окно-экран. – Это то, что видели мы.

Агафонкин смотрел на себя спешащего через толпу. Вернее, на свою спину. Затем он присел на корточки. Агафонкин не мог видеть, что он делает, но по движению правого плеча мог угадать, что закручивает юлу. Затем экран вспыхнул искрами, и на месте Агафонкина никого не стало. Пустота. Лишь гуляющие у фонтана пары и – в отдалении – кованая решетка ограды парка, у которой старый рабочий в рубахе-вышиванке и тюбетейке подметал и без того чистый асфальт.

На место, где ранее сидел на корточках Агафонкин, прилетел сизый голубь. Он нахохлился и постарался склевать с бурого асфальта что-то невидимое.

Девочки не было.

Магог поднял и опустил руку, словно задергивал шторку. Изображение в окне быстро свернулось и пропало. Узкая щель в воздухе сомкнулась и растворилась, не оставив после себя ничего.

– А для чего вам детская юла? – поинтересовался Агафонкин.

Лицо Гога замерло, прекратив поиск вариантов.

Он удрученно сказал:

– Вы, возможно, не понимаете, дорогой вы наш, но эта, как вы изволите выражаться, детская юла является наиболее важным предметом во Вселенной. И из-за вашего легкомыслия – непростительного, позвольте заметить, по своей безответственности поведения – этот бесценнейший Объект Выемки был отобран в Безвременье.

Гог посмотрел на Агафонкина, понимает ли тот, что произошло, и решил пояснить:

– Юла, которую вы, голубчик, ухитрились потерять, провалилась между двумя вариантами одного События. В пространство без времени.

– Пространства без времени не бывает, – возразил Агафонкин. – Пространство-время – это континуум. Сплошная среда. Эйнштейн доказал.

– Много он знал, ваш Эйнштейн, – вздохнул Гог. – Много он знал, что без чего бывает.

– Да если нужно, – пообещал Магог, – мы этого Эйнштейна…

– Ладно, ладно вам, дорогуша, – поморщился Гог. – Успеем и до Эйнштейна добраться. А пока нужно юлу вернуть.

– Есть проблема, – решился Агафонкин. – И не одна. Во-первых, вы хотите, чтобы я вам принес чужой Объект Выемки, за которым меня посылали не вы. Во-вторых, вы не даете мне координат События, куда я должен за Объектом отправиться. Кроме того, вы не объяснили, для чего этот Объект вам нужен. То есть пойди, Алеша, туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что.

Агафонкин понял, что убивать его не собираются, и хотел выяснить как можно больше. Он старался выиграть время.

Гог грустно посмотрел на Агафонкина и вздохнул.

– Вы вроде человек не совсем глупый, – сказал Гог, – а никак не поймете, с кем имеете дело. Мы, – очень медленно произнес Гог, – мы, милейший, являемся манифестацией сил зла. Мы – самое худшее, что может случиться с человечеством. И мы, если вы нас не будете слушать, – он неожиданно оказался очень близко к Агафонкину, которого тут же еще сильнее скрутило веревками, – мы, яхонтовый вы наш, если вы не принесете нам юлу, уничтожим, к примеру, для начала вашу семью. Мы младенца вашего сообразительного Матвея Никаноровича съедим живьем – по кусочкам. Или, что еще лучше, заставим вас его съесть. В сыром, так сказать, виде.

– Мы бы сами им все равно не наелись, – пояснил Магог. – Больно мал.

– Затем, – внутри Гога разлился и заблестел холодный неоновый свет, – затем, милейший Алексей Дмитриевич, если вы будете упорствовать в своем нежелании нам помочь в этом маленьком дельце, мы с коллегой разрушим жизнь на Земле. До основания.

– К ебеням, – радостно поучаствовал в разговоре Магог.

– Причем не сразу, – продолжил Гог, – а постепенно и с наибольшей жестокостью. Мы, скажем, примемся убивать детей на глазах у матерей или, к примеру, разрезать животы беременным женщинам и зашивать туда живых крыс. – Он дал словам повисеть в светло-сером воздухе помещения, которое, как заметил Агафонкин, стало еще меньше и теснее. – И заставим, дражайший, вас на это смотреть. Чтобы вы, значит, поняли, что натворили. А потом, когда смотреть будет не на что и не на кого, выколем вам глаза. Оскопим. Покроем язвами и поселим в них зловонных червей. – Гог причмокнул от удовольствия. – И оставим жить. Одного на всей Земле. Надеюсь, – улыбнулся Гог, – надеюсь, вы, друг мой, не сомневаетесь, что мы это можем?

Агафонкин не сомневался.

– Напугали, – признался Агафонкин. – Трепещу. Готов помочь.

Гог отодвинулся и стал нормального цвета. Он кивнул.

– Рад, рад, Алексей Дмитриевич, что вняли гласу рассудка, – сказал Гог. – По рукам, значит? – Он благоразумно не протянул Агафонкину руки и поспешил добавить: – В фигуральном, так сказать, смысле.

– Так куда я должен отправиться за юлой? – спросил Агафонкин.

– Это вам и предстоит выяснить. – Гог потер ладони, словно замерз. – Проследить цепочку, приведшую к этому Сдвоению. И вернуть юлу.

– А что я скажу Получателю, давшему мне Назначение на Выемку? Как объясню, что отдал юлу вам? – спросил Агафонкин.

– Соврите что-нибудь, – посоветовал Гог. – Впрочем, нам все равно. Можете и правду сказать. Что он с вами сделает, это другой вопрос.

– Если бы мне мое не отдали, – Магог перестал вязать и повернулся к Агафонкину: – Или даже чужое… – Он не нашелся что сказать – так, вероятно, это было страшно.

– Понятно, понятно, – вздохнул Агафонкин. – Вы, кстати, что вяжете? Что это будет?

– А по хую, – радостно сообщил Магог. – Лишь бы серое.

Неожиданно лицо Гога заполнило пространство. Агафонкин мог видеть только его огромные, сложившиеся трубочкой губы. Губы потянули в себя воздух и вместе с воздухом – Агафонкина, которого втянуло внутрь, как в темный туннель.

Это и был туннель. Это была Тропа без Событий, без Носителей, без Времени. Единственным обитателем этой Тропы был летящий неведомо куда Агафонкин.

“Куда я?” – подумал Агафонкин. И вынырнул на свет.

Он не успел понять, где он, как на него накинули душный плотный мешок.

Сцена у памятника, в которой происходит знакомство

Никто – даже самые близкие – не знал, что Катя Никольская не так уж любит театр. Все вокруг – и муж Саша, и ближайшая подруга Алина, и сама Катя – были уверены, что она живет театром и любит его, пожалуй, не менее, чем Виссарион Григорьевич Белинский. “Ах, любите ли вы театр, как люблю его я?” – могла бы спросить Катя Никольская, и ответ – честный, правдивый ответ – был бы: любите. И скорее всего много более.

Что же Катя любила? Что заставляло ее сердце биться быстрее, кровь бежать скорее и придавало миндалевидным глазам орехового цвета тот особый золотистый блеск, которому так завидовали подруги? А вот что: мороженое пломбир (без палочки), кизиловое варенье (без косточек), теплая ванна по утрам (чтоб ласкала и наливала кожу розовым жаром), свои ноги (особенно в туфлях на каблуках), шелковый халат (на голое тело), узкие юбки (хотя плиссированные ей тоже шли), начало романов (когда договариваешься с *ним* глазами, когда слов еще не было, да они и не нужны), красивые подарки (чтоб обязательно в коробке и перевязано разного цвета лентами), большие автомобили (с кожаными сиденьями), мужские взгляды (да, я *такая* красивая, знаю, знаю), актера Марка Бернеса (ах, если бы…) и все пушистое (приложить к щеке). Театр, как видите, в этот список не входил, хотя Катя в нем и работала, не получая, правда, больших ролей (они шли *заслуженным*), собиралась работать и дальше. Она хорошо пела, что ценилось в Театре оперетты, лирико-колоратурное сопрано – прозрачный тембр в верхнем регистре, но и другие (особенно эта уродина Никонова) пели хорошо. Все последние постановки делали упор на более высокие женские партии, требующие взятие фа или си малой октавы, а Катин диапазон начинался с первой октавы. И никак не выше. Зато фа в третьей октаве – пожалуйста.

Из всего, что Катя любила, более всего она любила мечтать. Ничто не доставляло ей такого счастья, как разукрашивать свою жизнь – так дети разукрашивают картинки-раскраски. У нее были особые цвета для разных оттенков радости, и Катя часами раскрашивала свои фантазии в эти цвета – от нежно-розового – начало, завязка – до темно-вишневого – цвета абсолютного, глубокого счастья. Этот цвет заливал ее и во время оргазма, который, увы, она достигала с мужчинами крайне редко из-за их невнимательности, торопливости и эгоизма. Потому Кате чаще всего приходилось самой заботиться о своих телесных нуждах.

Но оргазм, поверьте, был не главной Катиной фантазией. Он скорее был дополнительным украшением, как твердая, сладкая бледно-розовая розочка из крема на белом валике сливочного мороженого, выступавшем над краями вафельного стаканчика. Можно и без розочки, хотя с нею вкуснее. Главное, чтоб мороженое досталось именно то, которое хотелось. И тогда, когда хотелось.

Катины фантазии были по большей части связаны с мужчинами: как *он* войдет в комнату, как задержит на ней взгляд (она, конечно, тем временем будет оживленно беседовать с Алиной), как, выдержав паузу, наградит его за внимание к себе поднятием длинных, тщательно накрашенных ресниц, как они начнут безмолвный разговор – сперва чуть задерживая друг на друге взгляды, затем все дольше, все откровеннее. Когда она выйдет в гардероб ресторана (а именно ресторан был частым местом Катиных фантазий), *он* вдруг окажется рядом, возьмет у швейцара длинное пушистое пальто, подаст ей и не сразу, не сразу уберет тяжелые кисти рук с ее плеч. Они постоят так, молча, отражаясь в большом зеркале, затем он повернет Катю к себе и скажет что-нибудь значительное, определяющее их дальнейшее счастье вместе, но *что* – Катя отчего-то не могла придумать, и эта фраза оставалась незаполненной, неисполненной, зовущей, как приоткрытая дверь. Что потом – представлялось чередой смутных картинок, сквозь которые проступал глубокий вишневый цвет.

Ничего этого с Катей не случалось, то есть случалось, но другое – рваное, обрывочное, несовпадающее с нарисованным и напридуманным, и это реальное Кате приходилось докрашивать, допридумывать и убеждать себя, что оно и есть то самое. Жизнь, однако, предлагала другие цвета и другие картинки.

Кроме того, был муж Саша. Катя не то чтобы его не любила, а как-то и не думала, что должна любить. Она его уважала и заботилась о нем, благодарная за покойную жизнь и достаток. Он же любил Катю, как любят красивые игрушки – осторожно, с почтением, оберегая от случайных поломок. Саша был идеальным мужем. Идеальным родственником – старший брат, дядя. Но при чем тут любовь?

Холодный выдался день, хотя и октябрь: хорошо, что надела теплые сапоги, думала Катя. Трава газона на Пушкинской площади побелела от ночных заморозков и стала похожа на седой бобрик старого солдата. Солнце пряталось от москвичей и гостей столицы за низкими грязными облаками, решив, видимо, не показываться до первого мороза. Дождь, висевший над городом все утро, закончился в центре, продолжая затягивать темным покрывалом мокрого неба окраины Москвы. Шел особый час суток – между дневным светом и началом сумерек – отрезок дня, считавшийся Катей временем исполнения пригрезившегося. Время между дневной репетицией и вечерним спектаклем. Время возможного.

Катя, подложив сложенную вдвое газету “Труд”, села на лавочку и достала коробку папирос “Северная Пальмира”. Их курил еще Чкалов, и початую пачку “Северной Пальмиры” нашли в кармане его кожаной куртки в скованный морозом декабрьский день его гибели на Ходынском поле. Многие Катины подруги предпочитали женские папиросы “Аза”, но Катя курила “Северную Пальмиру”, хотя выходило и дороже. Честно сказать, курить ей было вовсе не нужно, плохо для связок, и так у нее голос ниже, чем теперь в опереточной моде. Катя это знала, но не могла себе отказать в удовольствии от тепла папиросного дыма в легких, как не могла (да и не хотела) отказывать себе в других удовольствиях.

У нее не оказалось спичек.

“Как всегда, – расстроилась Катя. – Ну, как всегда – что-то обязательно не так”. Она вздохнула и оглядела поделенное бронзовым поэтом пространство: площадь была пуста, лишь несколько смирных старушек сидели поодаль, безмолвные, как высившаяся перед ними статуя русского эфиопа работы скульптора Опекушина.

Катя вздохнула и уже собралась было убрать коробку “Северной Пальмиры” в сумочку, когда из последождевого тумана, начавшего редеть от быстро холодевшего воздуха, появился Он. Высокий, с копной каштановых кудрей, весь нездешний, чужой. Он сел рядом с Катей на лавочку, не спросив ее разрешения.

Кате понравилась эта решительность – она любила в мужчинах уверенность: это значило, что мужчина знал себе цену, и цена та была высока. Катя посмотрела незнакомцу в глаза и прочла в их зелено-медовом отливе свою участь. Сердце прыгнуло в сторону, словно решило, что его место справа, и радостно затрепыхалось, как трепещет вытащенная из воды рыба. Кате стало трудно дышать и захотелось, чтобы он поцеловал ее прямо сейчас, без слов – властно, по-хозяйски. Она была готова пойти с ним куда угодно, без обещаний, без будущего, без условий. Катя знала: это был Он.

Незнакомец смотрел на нее без улыбки. Затем он сунул руку в карман легкого, не по погоде, плаща и достал зажигалку с профилем неизвестного Кате мужчины в фуражке (это был Юрий Алексеевич Гагарин, полетевший в космос через пять лет, и знал бы Митек, что Агафонкин взял в 56-й год зажигалку, выпущенную в 62-м, ох, что бы Митек сделал! Подумать страшно). Катя прикурила длинную папиросу и кивком поблагодарила Агафонкина. Она ждала.

Агафонкин молчал. Ему было холодно, промозгло и хотелось в тепло, с большой кружкой горячего кофе, вдыхать ароматный терпкий пар. Он смотрел на женщину, ожидающую от него важных слов и решительных действий, и думал о цепочке событий, что привели его в этот холодный, сырой октябрьский день 56-го года. Катя ему не то чтобы не нравилась, но он, признаться, не находил в ней ничего особенного. Впрочем, ничего особенного Агафонкин в женщинах и не искал. – Катерина Аркадиевна. – Слова дались легче, чем он ожидал. – А ведь это не первая наша встреча.

как? где? когда? как она могла забыть эти зеленые глаза эти словно нарисованные полные губы эти большие властные руки все еще державшие уже не нужную зажигалку?

Мысли налезали друг на друга, роились, словно растревоженные пчелы, в Катиной голове, но решительно, решительно Катя Никольская не могла ничего вспомнить. Она подняла глаза – робко, испуганно, чтобы встретить его взгляд, и попыталась улыбнуться. Этой улыбкой Катя надеялась заслужить прощение за то, что не помнила их предыдущих встреч. Ей вообще нравилось чувствовать себя с мужчинами виноватой: это оправдывало ее усилия заслужить их расположение.

Агафонкин – из озорства – чуть было не рассказал Кате об их первой встрече, что прошла на диване в ее гостиной, но вовремя остановился: по календарю до этой встречи оставалось три недели.

– Я видел вас в театре. – Он, как обычно, врал, не задумываясь что сказать, словно слова были налиты в него кем-то другим и теперь лились из открытого этим же другим крана. – Ходил на спектакли, чтобы посмотреть на вас хотя бы издали. А сегодня вот решился подойти…

Катя затянулась папиросой, выпустила дым в сторону и сказала:

– Я очень рада, спасибо. В каких же ролях вы меня видели?

– Во всех, – без промедления ответил Агафонкин. – Не пропустил ни одной. Я, признаюсь, не люблю оперетту и ходил в театр исключительно из-за вас. Чтобы вас увидеть. Послушать. Почувствовать.

Он взял Катю за руку и поцеловал маленькую ладонь в замшевой перчатке. Не отпуская руки, поглядел в глаза.

– Ты мне нужна, – сказал Агафонкин (это была правда). – Ты мне нужна, Катюша.

Катя перестала дышать, и сердце ее остановилось.

вот оказывается эта фраза эти слова что мужчина всегда произносил в ее фантазиях и которые катя никогда не могла придумать! ТЫ. МНЕ. НУЖНА.

В Катиных мечтах встреча обрывалась на его первых словах, заглушенных шумом неизвестности, непридуманности, неясности, и дальше начинались картинки, оттого что над картинками была Катина власть, а над словами не было. Но теперь слова были произнесены. Все свершилось. Все свершалось. Здесь и сейчас.

Катя смотрела на незнакомца. Ей не хотелось говорить, ей хотелось, чтобы продолжал говорить он, чтобы увел ее куда-нибудь, где бы они были одни и чтобы никогда оттуда не возвращаться.

– У нас сегодня “Фиалка Монмартра”, – сказала Катя. – Я занята только в первом акте. Могу к девяти уже уйти.

– К девяти? – спросил Агафонкин. Он подумал, что было бы хорошо показать нетерпение: – Только к девяти?

– Грим нужно снять, – объяснила Катя. – Я постараюсь пораньше.

Она знала, что пораньше не выйдет, но хотела убедить его в своем желании быть с ним побыстрее. И навсегда.

Агафонкин улыбнулся. Он знал, что может врать этой женщине сколь угодно много, потому что это не изменит уже прожитой ею жизни. То, что происходило, происходило здесь

и сейчас и не имело последствий. Кроме того, неожиданной робостью и детской тревожностью – она начинала ему нравиться. Агафонкин вспомнил об их первой встрече, которая – если верить календарю – еще не состоялась. Вспомнил ее ласки на большом синем диване с пуговицами, и Катя начала нравиться ему еще больше. “А что, – подумал Агафонкин, – поживу здесь, в 56-м, до 11 ноября, потом приду к ней на Стромынку и заберу юлу. А там посмотрим”. *Что* посмотрим, Агафонкин так и не додумал, оттого что додумывать было нечего. Нечего было и смотреть.

Оставаться в Москве 56-го Агафонкин не собирался: он уже жил в этом пространстве-времени пару раз и помнил лихорадочный воздух страны, выяснившей, что ею на протяжении тридцати лет правил тиран, власть которого над людьми теперь отменили – посмертно. Да и незачем было Агафонкину оставаться в Москве 56-го, если он мог очутиться в любом Событии, когда хотел. Был бы подходящий Носитель.

Агафонкин встал и потянул Катю за собой. Она поднялась, не сводя с него глаз, вся – ожидание, надежда, томление. Агафонкину стало ее жаль, но не настолько, чтобы перестать врать: юлу-то нужно вернуть.

– В девять перед служебным входом. – Он подумал было поцеловать ее в полураскрытые, чуть лиловые от холода губы, найти ее узкий горячий язык, но вовремя вспомнил, что подобное не было принято в Москве 56-го: влюбленные не целовались на улицах.

Да и не был Агафонкин влюблен. Хоть и начинал тревожиться, отчего он так часто себе об этом напоминает. Он вообще слишком много думал об этой женщине. С чего вдруг? Обычно Агафонкин о женщинах особенно не размышлял: они сами появлялись в его жизни и сами из нее уходили. Он никогда не пытался ни одну из них удержать, понимая лучше других людей на свете, что все, что случается, никуда не исчезает, продолжая повторяться вечно, и зная, что в отличие от других он может в это случившееся вернуться. С Катей он отчего-то не был в этом уверен.

“Сдвоение подвело”, – решил Агафонкин, шагая к Старопименовскому переулку, где он собирался найти Носителя для возвращения в 2014-й. Хотя ничего хорошего его там не ждало.

Сцена в читальне, в которой возникает вопрос о баяне

Агафонкин знал, что нужно сделать: найти Платона. Обсуждать свои страхи с Матвеем Никаноровичем и Митьком в Огареве было опасно: все прослушивалось. Тем более что Матвей Никанорович был вынужден притворяться младенцем. Говорить же с Митьком – бесполезно: ничего, кроме упреков в потере юлы, Агафонкин не ожидал услышать.

Жизнь обитателей Квартиры в Огареве проходила в комфорте и непрестанном наблюдении. Агафонкину разрешили проживать с Митьком и Матвеем Никаноровичем в отдельном домике, снаружи которого дежурили трое охранников, менявшихся раз в сутки. Они были вежливы и в дом не входили.

Одного из них Агафонкин выбрал Носителем, поскольку тот родился в поселке Коминтерн Рязанской области, неподалеку от деревни Малая Алешня, где находилась усадьба Удольное. Через него Агафонкин иногда брал Тропу в те края, а там – на подвернувшихся местных стариках – добирался к себе в XIX век, где его ждали земские реформы, ставшие свободными землепашцами алешнинские мужики, либеральный поп отец Филарет и сенная девушка Варя. Сенной Варя, понятно, считалась при крепостном праве, а ныне – после реформы – называлась по-новому – горничной. Она от этого любила Агафонкина никак не менее.

Поживет Агафонкин в Удольном месяц-другой, отдохнет и вернется в то же мгновение, из которого взял Тропу. Никто и не замечал. Кроме Митька, непонятным образом знавшего, когда Агафонкин отлучался из их совместного настоящего. Митек прищуривался, укоризненно качал головой и пожевывал свои желтые губы.

– Опять? – интересовался Митек, внимательно разглядев вернувшегося, скажем, с какой-нибудь дальней войны Агафонкина. – Где шастал-то? Все, поди, девки на уме.

На расспросы Агафонкина Митек по обыкновению отвечал свое, митьковское:

– Как не знать-то? На тебе ж написано, когда ты с Тропы возвращаешься. От тебя другим временем пахнет.

Что написано, как пахнет время – Агафонкин от Митька добиться не мог.

Встречаться с Платоном в 2014-м Агафонкин считал опасным: Платон был единственным человеком во внешнем мире, знавшим о Квартире, и Агафонкин не мог его подставлять. Огаревские наверняка имели возможность проследить за Агафонкиным в *этом* времени, и оттого Агафонкин выбрал встретиться с Платоном до своего рождения; он надеялся, что там искать не будут. Но сперва предстояло выполнить Доставку.

Сейчас, в холодный, промозглый апрельский день 1965 года, стоя на режущем ветру с плывущей к Финскому заливу Невы (кожаная куртка на меховой подстежке не спасала), Агафонкин сложил руки рупором и прокричал – в шестой уже раз:

– Володя! Сережа! Вернитесь немедленно! Немедленно!

Льдин было три: на дальней, почти посередине реки с длинным деревянным шестом в руках стоял тринадцатилетний Володя Путин и что-то весело кричал старавшимся держаться ближе к берегу братьям Сереже и Вите Богдановым. Каждый из мальчиков был капитаном своей льдины, и неторопливая невская вода уносила их все дальше – к Балтийскому морю. Агафонкин начинал тревожиться, да и мерзнуть на ветру не хотелось.

– Вернитесь сейчас же! – протрубил в сложенные горстью ладони Агафонкин. – Если не повернете, я иду за родителями! Володя! Сейчас к отцу твоему на завод схожу! Он тебе всыплет, как положено!

Агафонкин к этому времени хорошо знал семью Путиных: Владимир Спиридонович отличался суровым нравом и на выходки сына смотрел без снисхождения.

Путин задумался, остановил свою льдину, оттолкнувшись шестом от другой, медленно плывущей мимо.

Он повернулся к Агафонкину и крикнул надтреснутым от недавней ангины голосом:

– Дядь Леш! Пусть Серега и Витька признают, что я дальше заплыл! Что я выиграл!

“Вот в чем дело”, – подумал Агафонкин.

Через час, укрывшись от ветра и холодного, секущего лица снега в районной библиотеке, Агафонкин и веселый, хотя и промерзший в пальтишке на жидкой вате, Володя Путин сидели рядом за столом, разложив перед собой подборку журнала “Пионер” за прошлый год. Они даже не делали вида, что рассматривают сброшюрованные вместе номера: старая библиотекарша не обращала на них никакого внимания, углубившись в только вышедший роман Григория Бакланова “Июль 41 года”. Агафонкина и Путина это устраивало.

– Ты чего на льдину полез? – спросил Агафонкин. – Утонуть захотел?

Володя посмотрел на него с удивлением: *утонуть?*

– Не, дядь Леш, у нас соревнование было – кто дольше на льдине продержится. У кого очко не сыграет.

– Что за выражения, Володя?! – недовольно сказал Агафонкин; он рос с людьми, придерживавшимися строгих лексических норм, и любая языковая вульгарность его коробила. – Ну, кто так разговаривает?

– Да все, – тихо, чтобы не нарушать тишину зала, заверил его Путин. – Это вы один нормально не разговариваете. А все другие так говорят. И чего такого?

“Надо будет его речью заняться, – подумал Агафонкин. – Неудобно, все-таки – будущий руководитель страны”.

Вслух он сказал:

– Мы еще побеседуем о твоем поведении, Володя. И как ты тряпками в классе бросался. Ты думаешь, нам ничего не известно?

Путин, нисколько не напуганный, уставился в окно, словно ожидая найти там объяснение своему поведению. Не нашел. Повернулся к Агафонкину.

– Я это… – Он запнулся. – Так меня за это уже наказывали: отца в школу вызывали. Ну, он мне потом, конечно…

– И правильно, – согласился Агафонкин. – И правильно.

Он вздохнул, показывая недовольство Володиным поведением. “И вот из такой шпаны… – думал Агафонкин. – Ладно, чего теперь”. Он решил начать Доставку.

– Назови себя, – потребовал Агафонкин.

Путин, привыкший к ритуалу Доставки, скороговоркой, проглатывая первый слог имени, назвался:

– Влодя Путин.

– Молодец, – похвалил его непонятно за что Агафонкин. – Тебе письмо.

Он ждал, пока Володя прочтет письмо – две страницы из школьной тетради в линейку. Агафонкин не интересовался содержанием Объекта Доставки – его дело передать. Он вспоминал, что нужно сказать на словах.

Володя закончил читать, поглядел на Агафонкина, затем снова в письмо.

– Чего это я в музыкальную школу должен идти? – спросил Володя. – Ну, для чего в музыкалку-то, дядь Леш? Совсем уже…

“А действительно, зачем ему в музыкальную школу?” – дивился Агафонкин. Он строго посмотрел на маленького, недовольно сопящего Путина. Ему было его жаль.

– Что в письме написано? – потребовал Агафонкин.

– Чтоб я шел в ДК Жданова на баяне учиться, – ответил Путин. – Чего мне этот баян? Да и ходить далеко.

– Володя… – Агафонкин много раз зарекался, что не будет комментировать письма Отправителя. Он подумал, что по возвращении потребует от Отправителя аргументировать свои требования к ребенку Путину так, чтобы у того не возникало вопросов, требующих его, агафонкинского, вмешательства. Он знал, что Отправитель улыбнется – обаятельно, широко, задушевно – и пообещает впредь так и делать. Но делать ничего не станет. – Володя, – повторил Агафонкин, – мы с тобой много раз об этом беседовали. Мы тебя для чего готовим? Забыл?

– Для подвига, – тихо сказал Путин. Он стал еще бледнее, чем обычно.

“Может, плюнуть, отказаться от этой Доставки? – в который раз прикидывал Агафонкин, думая, как он скажет это Отправителю. – Ну, что он сделает? Не станет же он, в самом деле…”

“Станет”, – вздохнул Агафонкин. Он вспомнил первый разговор с Отправителем.

Агафонкин чувствовал, что утро. Не раннее, а так, посередине. Видеть свет он не мог: плотная ткань мешка, натянутого на голову, продолжала ночь, всегдашнюю ночь Тропы.

В туннеле не бывает другого времени суток – стоит тьма, лишь тени Событий проносятся по сторонам от Наблюдателя. Если, конечно, присматриваться.

Хотя в туннеле, из которого он попал туда, где сейчас находился, не было и теней.

Агафонкин сидел с мешком на голове, привязанный к стулу, и пытался понять, сколько людей в комнате. Люди говорили шепотом, и слова их, хотя и различимые, не позволяли составить точного мнения ни о месте, ни о времени.

Кое-что он, однако, знал: по хамскому тембру голосов можно было определенно сказать, что он находился в современной России. По отрывистости фраз – что люди вокруг служивые. По волнению в комнате – что ждали начальство.

“Подождем, – решил Агафонкин. – Мне спешить некуда”. Он знал, что где бы он сейчас ни был, это лучше, чем там, где были Гог и Магог.

Тишина наступила раньше, чем открылась дверь. Агафонкин почувствовал, как все подтянулись, сковали взгляды, сцепили челюсти. Дверь закрылась, шорох отодвигаемых стульев, тишина. Ожидание. Готовность исполнять.

Его рассматривали. Что пришедший мог видеть через мешок? Наверное, что-то видел. Агафонкин молчал, понимая: чем минимальнее его реакция на происходящее, тем труднее захватившим его людям понять, что он чувствует, чего опасается, чего страшится.

А чего ему страшиться? Он – бессмертен.

– Мешок снимите.

знакомый голос кто бы это мог быть?

Шепот, возражения, уговоры.

Снова голос:

– Мешок снимите, сказал. Нам поговорить нужно.

Тишина. Снова шепот – консультируются.

К Агафонкину подошли. Постояли. Оттянули вверх дно мешка над головой и разрезали ножом.

Агафонкину стало легче дышать. Он с удовольствием пошире раскрыл глаза, наполняя их желтым электрическим светом.

Аккуратно, медленно мешок стянули до плеч.

Так он познакомился с Отправителем.

“Интересно, – думал Агафонкин, рассеянно перелистывая страницы подборки журнала “Пионер” за 1964 год, сообщавшие о триумфальной победе советской сборной на зимней Олимпиаде в Инсбруке. – Интересно, что Отправитель сказал бы маленькому Володе,

доведись им встретиться? Когда между ними не письмо с инструкциями, как жить, и пропасть в пятьдесят лет, а лично, глядя в глаза?”

– Дядь Леш… – Путин потянул его за рукав, словно чувствовал, что Агафонкин был далеко. Он подождал, удостоверился, что Агафонкин не только на него смотрит, но и слышит его. – Дядь Леш, я на подвиг – готов, – заверил Володя. – Но при чем тут баян?

Сцена в постели, в которой обсуждается проблема каузальности

Алина Горелова всю жизнь жила в комнате, где жила. Когда-то ее комната была одной из трех в просторной квартире на Чистых прудах, принадлежавшей их семье, и маленькая Алина бегала по залитому густо-лиловой тьмой коридору, радуя своей беготней отца-генерала и мать-партработницу. Когда включали большую, похожую на пальмовый лист, лампу с желтым абажуром, стоящую на застеленном чем-то бархатно-зелено-рубчатом столике между входной дверью и шкафом с книгами, старые обои коридора оживали, и скачущие по ним всадники подкрашивались тенями предметов коридорного обихода и скоплениями мушиных следов. Впереди всех скакал всадник в шлеме. Алина собиралась выйти за него замуж, когда вырастет.

Отец умер сразу после войны; не будучи ни ранен, ни контужен – он провел войну далеко от передовой, отвечая за снабжение фронта, но вот умер и все. Отец был сравнительно не стар и его не тронули в 37-м, несмотря на дружбу с Якиром. Что спасло – он и сам не знал.

После смерти отца Гореловых уплотнили: в комнате, где раньше был отцовский кабинет с зеленого сукна столом и тремя книжными шкафами, поселилась семья с маленьким ребенком, плакавшим день и ночь о своем детском горе. Алине было странно находить в их ванной чужие полотенца и замоченную в тазике для стирки чужую одежду или оставленную на их кухне чужую посуду.

Она привыкла к этой новой совместной жизни, и время в квартире продолжало течь, капая часами и днями в бездонную бочку прожитого: кап-кап, кап-кап. Алине хотелось знать, куда уходит время, что становится с плачем соседского ребенка, с кипением чайника на плите, с играми теней под потолком – куда исчезает то, что исчезает, и исчезает ли оно навсегда? Она думала, что все это хранится где-то в темном месте, как мама хранила игрушки для елки, доставая их из большой, обклеенной красным бархатом коробки раз в год, и Алина ждала, когда придет время – достать ушедшее. Она не задумывалась над тем, кто это сделает, но верила, что однажды прошедшее вернется и можно будет заново пережить сладкий холод мороженого, съеденного в Парке культуры год назад, или радость от теплого летнего дождя в прошлом августе.

Будучи уже взрослой, Алина все же надеялась, что наступит час, когда жених в шлеме с острым шишаком сойдет с потрескавшихся обоев в темный коридор квартиры, где ей оставили одну комнату – *ее* детскую, подхватит Алину, посадит на побуревшего от времени и грязи обойного коня, и они ускачут в незнамо куда от соседей, Москвы 50-х, мелких ролей в Театре оперетты и нечастых романов с женатыми на ком-то другом мужчинами.

Жизнь Алины проходила в ожидании возвращения прошедшего и наступлении обойного счастья. Прошлое должно было стать будущим, оттого что настоящее будущим не становилось никак. Она часто думала, почему так, беззвучно плача по ночам в комнате, где жила с детства.

Ах, если б только Алина могла расспросить об этом Агафонкина, лежавшего в данный момент на ее кровати в этой самой комнате и также размышлявшего о прошлом и будущем. Хотя скорее Агафонкин размышлял о каузальности. В его мире каузальности, то бишь причинной связи событий во времени, при которой событие в ранее происшедшем (причина) определяет последующее (следствие), такой детерминистской картине в Мире Агафонкина не было места. Чашка в Событии Б разбивалась не от того, что ее столкнули со стола в Событии А, а потому просто, что Событие Б было таковым. Ведь Событие Б существовало не после События А, а одновременно с ним. Все эти Лапласы и Спинозы, приверженцы механистического детерминизма, руководствовавшиеся чисто повседневной, интуитивной кар-

тиной мира, просто не знали того, что было известно Агафонкину. Хотя сейчас он не был уверен в своей правоте.

Катя прижалась к нему и поцеловала в шею. Она лежала на Агафонкине, длинные ноги согнуты в коленях, он все еще в ней, оба влажные от любви и близости тел. Ее волосы, освобожденные из аккуратно заколотого пучка, щекотали Агафонкина, и он вдыхал их запах – арбузная свежесть. В Катиных волосах жил холод, принесенный ими с улицы.

– О чем думаешь, Алеша? – Катя приподнялась на локте и смотрела Агафонкину в глаза, пытаясь разглядеть в угольной темноте комнаты его мысли.

Агафонкин знал ответ на этот вопрос – выучил за годы любви со многими женщинами в разных столетиях. Женщины менялись, эпохи менялись, но ответ, который они ждали от мужчины, оставался тем же.

Агафонкин улыбнулся, глазами, однако показывая серьезность:

– О нас с тобой, Катюша.

Он погладил ее по пушистым волосам и привлек к себе, чтобы не смотреть в глаза. Катя засмеялась – тихо, мелодично – и снова прижалась к Агафонкину. Ее горячий язык проник внутрь его уха, ее влажные губы бродили по его шее, пытаясь найти лучшее место для поцелуев, и Агафонкин почувствовал, что снова начал крепнуть внутри нее, раздвигая охватившую его плоть, заполняя тугое, влажное пространство, проникая все дальше, дальше. Он отметил, что до странности безучастен, наблюдая за изменениями в собственной физиологии с интересом ученого, обозревающего эксперимент, участником которого он – по странному стечению обстоятельств – является. Что происходило – происходило помимо него, как произносимые им слова говорились Агафонкиным вне их смысла – знакомый, хорошо отрепетированный ритуал, не наполненный верой. Он любил, как и жил – помимо происходящего: в стороне, вовне, извне.

Агафонкин знал, отчего так: он был Неинерциальный Наблюдатель и скользил по собственной траектории. Жил в собственной системе отсчета. Он мог прикоснуться к чужой Линии Событий, к чужой жизни, но не мог сделать ее своей или себя ее частью. Правило Курьера: не вмешиваться. Агафонкин и не вмешивался.

Катя, почувствовав его стремление внутрь, издала что-то среднее между мурлыканьем и стоном и прижалась к Агафонкину еще больше, разведя бедра в стороны. Она начала двигаться вместе с ним, поймав его ритм, прижимаясь, когда он двигался внутрь, поднимая бедра, когда Агафонкин уходил в Алинину кровать. Иногда она замирала, позволяя его ладоням, державшим ее бедра, взять контроль, притянуть к себе, когда он сочтет нужным, а иногда Катя вдруг поднималась, садилась, закинув длинные волосы за плечи, и начинала двигаться по кругу, словно была колесом жернова, насаженным на ось. Теплая волна разливалась по долгому, мускулистому телу Агафонкина, достигая кончиков пальцев, скользя мурашками по коже, словно морской ветер – горячий, влажный. Агафонкин притянул Катю, обнял и, качнувшись, перевернул на спину, оказавшись сверху. Она обхватила его ногами, сцепив их у него на пояснице, и замерла, отдавшись его воле.

Агафонкин соврал: он думал не о них, а о Лапласе и Теории детерминизма. Говорить об этом он счел неромантичным, оттого и соврал. Хотя толика правды в его словах была: Агафонкин думал о каузальности как принципе детерминистской картины мира в применении к ним двоим. Вернее, к тому, как он попал в этот ноябрьский вечер 56-го года (здесь нужно сказать, что происходило это 6 ноября, а то мы запутаемся в датах, а даты – как остановки автобуса вдоль его маршрута – важны на Линии Событий).

Агафонкин пришел в комнату Катерины Аркадиевны в Доме ветеранов сцены, заполненную, словно старая шкатулка, ее прошлым, и, осмотревшись вокруг, увидел на тумбочке старую тетрадь в черном псевдокожаном переплете. Агафонкин был человек порядочный и не читал чужих записей, но как-то непроизвольно открыл тетрадь. Открыл и увидел на стра-

нице справа: “*23 октября 56-го я познакомилась с Алешей, после репетиции, перед вечерним спектаклем. Пушкинская площадь. Так началось мое горе*”.

Странная получалась цепочка: выходило, что первый раз он встретил Катерину Аркадиевну в так называемом прошлом 11 ноября 56-го года. Затем вернулся в 2013-й и нашел ее дневник, где говорилось, что они знакомы с 23 октября 56-го. И тогда – чтобы выяснить, как это произошло, – он взял Тропу в это самое 23 октября и действительно встретил Катю на Пушкинской площади. Как и было сказано в ее дневнике.

Вопрос, мучивший Агафонкина, пока он вжимал стонавшую Катю в привыкшую к целомудренному одиночеству кровать Алины Гореловой, был прост: стал бы он брать Тропу в 23 октября 56-го, если бы не прочел об их встрече в Катином дневнике в 2013-м?

Эх, Лаплас…

В следующий момент Агафонкин перестал думать о детерминизме и прочих причинно-следственных связях. Он вообще перестал думать.

Катя, накинув Алинин халат, пошла в ванную и вернулась оттуда с влажным полотенцем, которым обтерла Агафонкина везде, где считала необходимым.

Поцеловав в губы, сказала, грустно улыбнувшись:

– Нужно идти, Алеша. Я обещала Алине, что мы к десяти уйдем, а то ей придется на улице мерзнуть. – Помолчала, позволив тишине в комнате наполниться неизбежностью расставания, и спросила: – Когда мы теперь увидимся?

когда?

Агафонкин решил не форсировать события, не произносить заветную дату вслух. Все должно было совершиться само собой, естественным путем, и только тогда это станет подтверждением его новой Теории о причинно-следственной связи событий. Хотя даже самому себе Агафонкин боялся в ней признаться.

– А когда ты сможешь, Катюша? – Было важно, чтобы все произошло не по его, агафонкинской, инициативе. – Когда ты сможешь, и я смогу. Я сейчас… в отпуске.

Катя улыбнулась.

– У нас праздничные спектакли до 10-го, я во всех занята, и Саша на праздники дома. А 11-го он на три дня уезжает в командировку, на Урал. У меня 11-го только дневная репетиция – до четырех, потом я свободна. Приходи ко мне домой, на Стромынку, к пяти.

“Вот и все, – подумал Агафонкин. – Вот так все и произошло”. Ему стало страшно.

– А ничего… – он запнулся, – что мы… будем у тебя? Соседи, там. Ты все-таки замужем.

– У нас на площадке один сосед – Петр Васильевич, пенсионер. Он из квартиры выходит раз в день – за газетами. – Катя встала – клин ее тела белел в разошедшемся на груди Алинином халате. – Приходи 11-го к пяти и оставайся до 14-го. Я домработницу отпущу к родным, в Тулу, она давно просилась, а Саша вернется только 14-го вечером. 12-го у меня нет спектакля, 13-го я выхожу в самом начале второго акта, а потом быстро разгримируюсь – и домой.

Агафонкин одевался, слушая Катины планы, и думал, почему он поменял их встречу 11-го с пяти вечера на час дня. Ему предстояло это выяснить. И выяснить скоро.

– Придешь? – Катя уже оделась и забирала волосы в пучок, вслепую, без зеркала, закалывая шпильками, собранными с подушки. – Представляешь, Алеша, мы с тобою будем вместе три дня!

Она засмеялась и чмокнула сложенными бантиком пухлыми губами воздух Алининой комнаты, воздух, непривычный к счастью:

– Три дня и три ночи.

Сцена у вокзала, в которой подвергается сомнению параметр комптомизации эффекта Сюняева – Зельдовича

Платон Тер-Меликян хотел пить. Миусский сквер, где он сидел на лавочке теплым вечером 27 июля 1979 года, был, словно пиала с горячим чаем, до краев налит прогретым за день воздухом, напоен ароматом сожженных шин и выхлопных газов. Отдельные граждане, неравномерно распределенные по прямоугольнику сквера, томились от недостатка прохлады и ждали дождя. Лишь дети и собаки казались счастливыми в асфальтово-бензиновом мареве, знойной дымкой висевшем над центром Москвы.

Платон хотел пить. Он ничего не ел и не пил с утра и только сейчас, выйдя на улицу, позволил себе это почувствовать. День прошел, пролетел, пронесся, питая Платона впечатлениями, идеями, находками – всем тем, что составляло смысл его существования. Это был второй день его работы в Институте прикладной математики вблизи Миусской площади, к которой прилегал сквер. Он до сих пор не мог поверить, что его взяли в ИПМ сразу после окончания мехмата: в академические институты обычно принимали исключительно аспирантов.

Сегодня Платон видел легендарного Зельдовича. Яков Борисович шел по коридору, беседуя на ходу с Гельфандом, руководителем отдела теплопереноса, где работал Платон, отдела, отвечавшего за математическое моделирование институтских исследований.

Проходя мимо вышедшего покурить Платона, Гельфанд остановился и сказал Зельдовичу:

– Вот, Яша, наше последнее приобретение – Платон Тер-Меликян. Очень толковый. Гляди, скажу ему, и он пересчитает ваш с Сюняевым эффект. Покажет, как вы там напортачили.

Платон задохнулся от волнения: эффект Сюняева – Зельдовича, определявший изменение интенсивности радиоизлучения реликтового фона звезд на горячих электронах межзвездного и межгалактического газа, считался одним из основополагающих принципов современной астрофизики и позволял узнать возраст небесных тел. Мало того, этот эффект давал возможность понять процесс начальной стадии расширения Вселенной. И Гельфанд хочет, чтобы он, только с университетской скамьи, пересчитал эффект Сюняева – Зельдовича? Или это шутка?

– Жопа ты, Изя, – не останавливаясь, пробурчал на ходу Зельдович. – Чего там пересчитывать? Спектральную форму?

– Зачем спектральную форму? – засмеялся Израиль Моисеевич. – Мы, Яша, например, подвергнем сомнению параметр комптомизации, который вы с Рашидом использовали. Такой, например, его компонент, как томсоновское рассеяние.

Гельфанд совсем развеселился и начал смеяться еще громче, наполняя коридор мелодичным бульканьем. Зельдович тоже засмеялся и остановился, толкая Гельфанда в плечо растопыренной ладонью.

– Томсоновское рассеяние, – смеялся, чуть задыхаясь, Зельдович. – Томсоновское рассеяние они подвергнут сомнению!

– Пересчитаем, пересчитаем, Яшка, – уверял его Гельфанд. – Вот посажу на это Платона и придется вам с Сюняевым все по новой доказывать.

Платон судорожно вспоминал Закон томсоновского рассеяния: энергия падающей волны частично переходит в энергию рассеянной волны, стало быть, происходит рассеяние.

Что там пересчитывать? Он не знал, присоединяться ли ему к смеху двух наиболее гениальных советских ученых второй половины XX столетия или оставаться серьезным.

Зельдович неожиданно перестал смеяться и внимательно взглянул на Платона:

– Могу дать дельный совет, молодой человек. – Зельдович понизил голос до доверительного шепота: – Причем совершенно бесплатно.

“Что он мне скажет? – Сердце Платона забилось, стало трудно дышать. – Пояснит, почему использовали томсоновское уравнение?..”

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.